

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

СИБИРИАДА



Гарусный платок

Сибиряда

Алексей Зверев

Гарусный платок

«ВЕЧЕ»

2026

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

Зверев А. В.

Гарусный платок / А. В. Зверев — «ВЕЧЕ», 2026 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-6161-3

В сборник произведений известного сибирского писателя Алексея Васильевича Зверева (1913–1992) вошли избранные повести и рассказы. Повесть «Гарусный платок» и рассказ «Как по синему морю...» посвящены сибирской народной жизни, военной и послевоенной, трудной судьбе детей войны. Рассказ «Пантелей» запечатлел начало педагогического пути автора в безграмотной и бедной послереволюционной деревне. В повести «Раны» война предстает перед читателем как великая и трудная работа, которую изо дня в день делает Евлампий Гневышев – русский крестьянин и солдат. Эту повесть, с романным развитием событий и характеров, вместе с «Выздоровлением» и «Передышкой» принято считать вершиной творчества писателя. Не только судьба Гневышева видна в его воспоминаниях о тридцатых годах, но и трагедия всего крестьянства, сорванного с земли в годы раскулачивания. В 2010 году Иркутским театром народной драмы по сюжету повести «Раны» был поставлен драматический спектакль «Гневышев».

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-6161-3

© Зверев А. В., 2026
© ВЕЧЕ, 2026

Содержание

Гарусный платок	6
Как по синему морю...	37
Сашкина гармонь	44
Пантелей	49
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Алексей Зверев
Гарусный платок



Серия «Сибиряда»



© Зверев А.В., наследники, 2026

© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2026

Гарусный платок

Повесть

Лиде

Гнедко долго служил деду Ефиму Васильевичу. Кроме лесной работы – ореховой, ягодной, дровяной – дед занимался знахарством, и Гнедко знал многие дворы ближних сел. После, служа Миньке, конь подворачивал к чьему-нибудь двору, и Минька ворчал:

– Вот беда. Деда и тут ночевал.

Иногда дед брал с собой Миньку, сажая его за седло на потничок, и так они ездили и день и другой. Дед хрипел, сипел от грудной жабы, но курил и выпивал, потому что выпивка была платой за лекарство и травы. Зимой Минька привез деда под тулупом, уже неживого, и с тех пор Гнедко и дом, и сестра Лидка, и бабка Ольга должны были блюстись новым мужиком в доме – Минькой. Так распорядилась война, что Минька, как помнит себя, готовился стать хозяином. Отца убило в финскую, до памяти его, и дед внушал: «Ты за него хозяином будешь». За полгода до смерти дедовой умерла мать, и опять дед говорил: «Все идет к тому, что тебе в доме хозяйничать». Вот она и пришла, пора.

Миньку прежде всего обеспокоил малый зародок сена – хватит ли его на зиму, – и он установил порядок: сеном распоряжаться единолично. Ни бабке, ни Лидке к сену и ногой не ступать, потому что при деде навывкли они подворовывать сена для коровы. Теперь Минька половину времени проводил с Гнедком, и думы разные не покидали его. Когда подходил к главной думе, Минька вздыхал, вздыхал и Гнедко, отдувая круглое желтоватое брюхо и обдавая парнишку теплым дыханием. Казалось, конь знал все, о чем думал Минька: что дом, клочок пашни, бабка с Лидкой и забываемая школа – все зависело теперь от них двоих, от их сытости и здоровья. Когда пришел сосед просить коня, Минька сказал:

– Так не дам. Неси вязанку сена.

А с теткой Настей Минька пошумел. Та привыкла по-родственному коня брать не спросясь. Так и теперь – вошла во двор, запрягла коня в сани и распахнула ворота. Не выдержал Минька самовольства и выскочил из избы голоушим.

– Ты куда коня запрягла?

– Куда же, как не за дровами? – ответила тетка.

– А пошто не спрашиваешь?

– У тебя ли, чо ли, спрашивать?

– А хоть у меня. Сена не косишь, а конем распоряжаешься.

Минька захлопнул ворота и взялся за повод. Тетка отталкивала парнишку, даже по щеке зазвездила. Минька помучнел лицом, помутился глазами, не мог слова сказать от волнения и от дрожания губ – страшен, должно быть, был Минька в эту минуту, и тетка отступилась, хлопнув в ужасе руками.

– Экой бесенок!

На пятый день Минькиного хозяйничания пришла в дом учительница. Она была в пальто с собачьим лохматым воротником. Белый платок столкала к затылку и пригладила смятые, подевоночьи уложенные в косы волосы. Ноги ее повисли, когда она присела на скамью. Она обязана была прийти к сироте и не знала по молодости, с чего начать разговор, тревожно разглядывала пустые углы Минькиного дома, метнула обостренный взгляд на бабку, на юбку ее растопыренную, задержала взгляд на Лидке, круглой пухлой девчонке, которая с год уже не ходила в школу. Учительница волновалась, не зная, как начать разговор, и с какой-то отчаянностью сказала:

– Вот теперь ты, Миня, остался круглой сиротой.

Сказала и испугалась своих слов, потому что получилось, будто она ждала этих дней. Она покраснела, отвернулась к окну и заплакала. И вслед за ней заорала Лидка, а бабка всплакнула коротко и молча, присушила фартуком глаза, едва повлажневшие, и засовала руками так, будто замахивалась помолиться и раздумывала. Минька удержался от слез, только вздрагивали темные ресницы. За столом сидя, он дернул плечами раз и другой и сказал неторопливо:

– Ладно. Конь есть – не пропадем. – Все разом перестали плакать, а учительница сказала:

– Ты, Миня, не бросал бы школу-то. Так славно учился.

– Что бы ни было, а школу он дотянет, – сказала бабка.

– Колхоз чем-нибудь поможет, – продолжала учительница.

– Поможет, – протянула бабка, и было не понять по тону голоса, верит ли она, что поможет колхоз в самом деле, или что надежду такую надо выкинуть из головы.

Была бы семья-то колхозная, а то дед знахарил и о колхозе забыл, а мать после смерти отца вышла замуж в дальнее село, там и умерла. Да и стыдно обращаться за помощью к колхозу, который от войны сам-то не может оправиться.

– Хотя не каждый день. Хотя через день ли, как ли, – просила учительница Миньку посещать школу, – а я задания приносить буду и объясню что.

– Да чего зимой-то делать? Будет ходить. Там уж весной работа. Сейчас одна забота – дрова, дак и Лидка нарубит, – говорила бабка, а Минька молчал. Он, как дед, привык молчать и вроде соглашаться, а делать потом по-своему. Школу Минька любил, но эти дни он много думал и порешил окончательно: хватит ему и трех классов, а подрастет, видно будет. Пока же он один мужик в доме, и хоть понимал, что мал, а дальше так жить, как жил при деде, то есть пить, есть, ходить в школу, играть с ребяташками и потом крепко и беззаботно засыпать – так жить теперь он не сможет. Главное: есть над чем плановать, есть за что ухватиться – есть Гнедко. Не видел Минька всей глубины наступающей жизни, а чуял: она будет связана с конем. Весь мир, весь свет, все думы и волнения Минькины были окрашены в гнедую масть, овеивались черной Гнедковой гривой и сладким запахом Гнедкового пота.

– Что молчишь, Миня? Я тебе тетрадок побольше давать буду и учебников достану. Кому не дам, а тебе будут учебники. Учиться, Миня, надо. Вон и другие сироты учатся. Правда, у тебя хуже, ну, так как-нибудь. Родительский совет соберем и о помощи подумаем, – убеждала учительница.

«Как она не поймет: учиться мне больше нельзя», – думал Минька, а сказал так:

– Ладно, дело покажет, – как говаривал дед, так ответил и Минька. На другой день бабку пригласили в сельсовет. Она было юбку свежую достала, но Минька сказал:

– Я сам схожу.

– Сам дак сам. Это еще лучше, – согласилась бабка. – Только знай, в колхоз приглашать станут – откажись пока. Минька знал, что такой разговор его ожидает, и потому заранее приготовился к ответу: взрослые едва на прокорм зарабатывают, а что заработают они с Лидкой? Нет, пока слабы, будут жить одни.

В сельсовете Минька сел перед распахнутой печкой, рядом со сторожем. Сторож не знал всех детишек села и думал, что парнишка катался и забежал погреться. Они наслаждались теплом и молчали; и тогда открылась дверь, и из нее высунулось небритое лицо Спиридона.

– Ты ходил к Осинкиным? – спросил он.

– Ходил, – ответил сторож.

– Что ответили?

– Бабка обещалась.

– Сходи-ка еще. Недалеко живут.

Спиридон захлопнул дверь, а Минька поднялся от тепла, полушубок застегнул и, опустив руки, сказал:

– Я от Осинкиных.

– Ты? – покосился на него сторож. – Дак как же с тобой говорить будут? Нужен полномочный член семьи. – Минька шапку поправил и пошел было к выходу. Сторож взял его за рукав и повел к Спиридону.

– Вот он главный Осинкин и есть. – Спиридон рылся в бумагах, бросая взгляд на парнишку.

– На отца, брат, ты стал здорово смахивать, – сказал Спиридон, разгибаясь и кладя узловатую руку на найденную бумажку. – Такой же курноватый и взглядом – в точности. Он, брат, уж и певун был и плясун. Дак что, парень, делать будем? В детдом пойдешь? И Лидку, и тебя.

У Миньки и в голове не было, чтобы могли такое придумать. Новость его так озадачила, что он не нашелся что ответить, отвернулся к стене и заковырял известку.

– Ты, брат, обдумай хорошенько. Детдом – это вопрос сурьезный. Суровый вопрос. Там тоже ни тяти, ни мамы. Ну, а человека сделать могут. Ну и сытые будете.

– В детдом не пойдем, – ответил Минька тихо, но твердо.

– Ответ ясный, – сказал Спиридон, – а вот бумаженцию прислали. Как раз два места нашлось.

Минька поднял сердитые глаза на председателя и спросил:

– А бабку? Тоже в детдом?

Спиридон засмеялся:

– На бабку у нас тоже есть решение. Мы ее к Настасье, к себе то есть, определим. Родная дочь, куда денешься. Обязана кормить.

– А Гнедко? А дом?

– Этому мы место найдем

– Из дому никуда не пойду, – решительно ответил Минька.

– Ясный ответ, – почесал затылок Спиридон. – А я, брат, звонил. Думал: детишки старого дружка и родня как-никак. Дай пристрою. Дак чем же вы дома заниматься станете? И в колхозе от вас пользы никакой, наоборот, содержать надо.

– Мы сами себя кормить будем, – ответил Минька.

– Как это вы сообразите?

– Пахать, сеять будем. Орешничать.

Спиридон закрутил головой, глядя на Миньку из-под бровей.

– Единолично, что ли?

– Ага.

– В-о-он как! А я-то думаю, башку ломаю, как их к новой жизни пристроить. Это все дедова работа, плоды Ефима Васильевича. Ране из-за вас круглого процента не получалось, и теперь хотите так. В детдом не хошь, в колхоз не хошь, индивидуальничать хошь, чтоб тебя... Ладно, посмотрим, что получится. Хо! Хо! Хо! Горе мне, Минька, с вами. Тут у меня деньжонки есть. Они по вашей статье. Я вам с Лидкой по костюму хоть куплю.

– По ко-стю-му! – протянул Минька.

– И тут не ладно?

– Нам не костюм надо. Хомут.

– Хому-у-у-т! – удивился Спиридон и откинулся на спинку стула. – Будь ты неладный! Ты и в самом деле хозяйничать собрался. Хомут ему. Хо! Хо! Хо! Ясный ответ. Будет хомут, Минька. Завтра в город поеду.

Глаза Спиридона засверкали умиленно. В коридоре, провожая, показал сторожу на парнишку:

– Вот клоп! Не надо ему костюма, надо хомут. Будет хомут, а иди-ка пока домой, домашничай.

Как вырвалось у Миньки «хомут», он и сам объяснить не мог. Может, потому, что хомут у Гнедка был стар и великоват, а может, потому, что корень-то сбруи не шлея, не седелко – хомут. «Хомут есть – можно ехать, без него, хоть будь все, не поедешь», – думал Минька, шагая от председателя. Начал он, Минька, хорошо, с хозяйства, а не с нарядов, пустяков разных. Так помаленьку все обновить можно. Не вошел он сразу в избу, а в стойку пошел и впотьмах ее остановился, прислушиваясь к сочному хрумканью, машинально взял лопату и завыгребал побрякивающие конские шевяки, выбросил их за воротцы и оглянулся, услышав тихое, миролюбивое ржание. Поманил Миньку зелено-огнистый блеск глаз. Погладил Минька подбородок коня, а Гнедко раза два его подтолкнул мордой легко. Толкнул, почесался ухом о Минькино плечо и покряхтел, отдуваясь. Минька пошарил в карманах крошек, щепотку насобирал и на ладошке поднес коню. Гнедко обнюхал ладонь, похлопал губами и пофыркал. И когда Минька ухватился за его шею и зарылся лицом в гриве, не отшатнулся, не поднял головы, ниже еще опустил ее, порокотал тихо и опять вздохнул.

Дело пошло так, что Минька школы не бросил; но посещал ее не всегда и вел себя в ней совсем по-другому. Он не щелкал малышей по лбу, не устраивал кучу-малу, не носился по школьному двору без шапки. Он стоял в сторонке, оценивая ребячью игру грустным взглядом, и ребяташки не теребили его, словно он болел чем. За партой не тянул руки, не вскакивал, а глядел на учительницу, и та по привычке обращалась к нему:

– Ты, Миня, уже решил? Ну-ка, отвечай.

Минька спохватывался и краснел, потому что думал о доме, и в голове мешались разные заботы.

– Не решил, значит, Миня?

– Да нет еще, – отвечал он и склонялся над тетрадкой, и книжная задача казалась ему забавой, и школа, и все дела в ней казались игрой, которая отходила от него по возрасту. Раз в школу наведалься Спиридон. Он поздоровался с учительницей за руку, спросил об Осинкине и тут же увидел его сам. Он подманил Миньку и шепнул ему на ухо, отчего бороздка на лбу парнишки разгладилась, лицо как-то подменилось, и в глазах появился осторожный интерес.

– Правду говорю, пойдём-ка, – сказал Спиридон.

В сельсовете подле печки стоял новый хомут, каких Минька никогда не видел. В коридоре густо пахло свежей кожей. Сыромятные гужи, как уши, смято повисли, клешни насечены рубчиками под елочку и завязаны мягкой желтой супонью.

– Неодеванный даже, – похвалил Минька, не отводя взгляда от хомута.

– Из магазина. Какое уж одеванный, – весело поддержал Миньку Спиридон. – Давай-ка, брат, пойдём примерять.

Спиридон нес на плече хомут и рассказывал, с каким трудом отыскал его в городе.

– Продавец говорит, по заказу делан. Гляди, говорит, как все пригнано, да вишь, не по коню пришелся, а тут я как раз подскочил. Хомут легкой, но и тебе не груза возить, сойдет.

– Сойдет, – согласился Минька.

Изба сразу наполнилась кислым запахом хомута. Пристегнули к нему старую, ошелушившуюся шлею, на которой уцелело две-три бляшки. Потом седелку оглядели, ладную еще, хотя до черствости пропотелую, и вышли во двор.

– Ну, Минька, богато ли заживешь, – смеялся Спиридон. – С единоличностью борюсь, а тут самовольно помогаю собственнику. Давай-ка сам хомутай, сам запрягай, а я прикину, как ты можешь хозяйничать.

Лидка с бабкой протаяли стекло и глядели из избы, как Минька забрасывал коню на спину седелку, как пыжился и изгибался, затягивая подпругу. Потом взялся за хомут.

– Не плохо, не плохо. Так вот его напрокид надевай, – похвалил Спиридон Миньку. – А я, это, первый-то раз клещами вовнутрь надел. Хозяин надо мной целое лето подтрунивал. И

шлею раз спутал так, что и распутать не смог. Эко все ладно получается у тебя. Да ты, парень, настоящий мужик.

Как уж удалось Миньке – подскакивая, он разметал шлею на коне и под хвост смело ее заправил, и тогда Спиридон сунул руку за хомут, обшарил шею с обеих сторон и прищелкнул пальцами.

– Угадал, парень, как раз пришелся. Глаз мой ватерпас. Артиллерийский! Ага, – не меньше Миньки радовался Спиридон. – Это мы с отцом твоим еще в единоличное время запрягли коня и к девкам в другую деревню махнули. А запрягали крадче от родителей и ночью. Гоним коня, а что бы пощупать под хомутом. Утром деда твой Ефим Васильевич пошел коням сена дать, а Серко припотелый. Глянул на плечи – до крови сбиты. Попало тогда отцу твоему. Надо ой как беречь плечи коня. В плечах весь конь, понял? Давай-ка заводи в оглобли, и я гужи малость поубавлю.

Минька и дугу закладывал по-своему, как позволяли силы: один конец ее в землю упер, другой в гуж заталкивал, затем повернул ее в гуже и на другую сторону перекинул. Супонь затянуть – для Миньки самое главное в запряжке. Он чумбур к супони привязал и тем самым продлил ее, опоясал себя и обеими ногами в клешню уперся, ведь вся сила в спине.

– Экой ловкий, экой проворный, – похвалил Спиридон, а Минька уж и вожжи «братским узлом» подвязал, подволок козлы дровяные и с них дотянулся до колечка дуги и повод в него прoderнул. Тут и Гнедко помог: голову ниже опустил.

– Миня! – хлопнул руками Спиридон. – Да ведь Гнедко-то нарочно наклонился. Ага. Как по заказу конь тебе достался. А то был у нас ране меринок, все, холерный, против делал. Ты его стегнешь, а он останавливается да оглядывается, вроде ждет еще, будто не кнута – овса ему дают. Пахать поедешь – в борозду ляжет и, хоть ты убей его, не поднимется. А какой был проворный – ртом паутов ловил. А коли удержать его хочешь – прет тебя на вожжах, губы издерешь ему, кровь брызжет, а он прет, и баста. Мешанку на муке любил, учует, тут уж не сладишь с ним, из бороны прямо к колоде бросается и по-собачьи хватает. Продали непутного. А у тебя Гнедко – молодец. Давай садись в сани да прокатимся.

– А что зря-то кататься, дров привезти надо, – важно сказал Минька.

– И то верно. Клади топор и пилу, – подмигнул Спиридон.

Деревня Минькина таежная – и хоть сейчас же останавливайся и руби. Но заехали подальше: там нынче после пожара уйма сухостоя. Одну лесину раскряжешь – воза на два хватит. Последнее время дед все тоныше и тоныше сухостоины валил, сил не хватало закатывать в сани, хоть малость помогал Минька. С дядей Спиридоном можно и большую свалить.

– Ну, давай выбирай, Иваныч, а я покурю, – как ко взрослому, обратился Спиридон.

В лесу твердый мартовский снег. По нему осторожно нужно идти, чтобы не провалиться, а уж если провалишься, по уши уйдешь в снег. Потому Минька и от дороги не уходил. Он стукнул обухом по сушине, и к вершине ее улетел многострунный звон. «Выбирай ту сушину, которая звонка, в ней мерзлоты нет», – вспомнил Минька дедов наказ. Дед ходил от дерева к дереву и подставлял к ним ухо, стуча топором. Затем распоясывался и снимал полушубок. Заламывал голову, примеряясь, куда валить. Он Миньку не заставлял пилить, какой из него пильщик, топором один скорее срубишь.

– Добрую сушину выбрал, молодец, – похвалил Миньку Спиридон и взялся за ручку пилы. – Давай-ка не торопясь, не торопясь. Дыши глубже. Коли мало сил, их сберечь надо. И так всегда, Миня, – чем больше дело, тем медленнее начинай. Ну вот, теперь давай подрубим да с другой стороны начнем. Мы с отцом твоим ране все на пару в лес ездили. Я сильнее, он ловчее был. Как-то все так смекнет, что раньше меня воз накрутит. Если ты в него пойдешь, знай, что жизнь твоя будет ничего. У него получалось все как-то играючи. И на матери твоей так же женился. Девки за ним бегали – уйма, а тут новенькая приехала. «Ну, Ванькина будет», – говорим. Так и получилось – хохочет, под ручку с ней прогуливается да заглядывает на нее

снизу вверх – она его чуть поболее была. Глядим-поглядим, а девка-то уж у Осинкиных и белье на речке полощет. Эдак без свадьбы, ровно стряпуху в дом привел.

Минька дышал ровно и сперва пилу водил редко, но чем больше выдыхался, тем чаще ее дергал, наконец выпустил ручку и повалился в снег. Сердце колотилось, словно просилось выскочить, голова кружилась, и казалось ему, что и верхушки сосен кружатся.

– Я те что говорил – не торопись, – хлопал по плечу парнишку Спиридон. – Так, не торопясь, и втянешься, и повезешь. Работник из тебя только начинается.

Минька отпыхивался, а Спиридон тем временем курил и про отца рассказывал.

– Я тебе, как назад поедем, пень покажу. Сосна там в два обхвата стояла. Отец твой и поспорил свалить ее в четверть часа. В ту пору во всей деревне нашей часов ручных не было, так мы будильник в лес принесли. Ты бы видел, Иваныч, какую щепу он отваливал, она, знаешь, пимы ему завалила, он крошит и крошит, распарился, раскраснелся, разметал по снегу одежду с себя, гимнастерка от пота на лопатках почернела – он тогда из Красной Армии только вернулся. Картинка, брат, была. Сам «кха-кха», топор «дзинь-дзинь». Такую пасть в сосне вырубил! «Сколько осталось?» – спрашивает. «Минута», – говорят. «Ну, значит, выиграл!» – крикнул он и плечом-то так не сильно и нажал, ну и ветерок той порой по вершине прошелся. И ахнула сосна. Ить потом старики этот пень глядеть приходили. Вот как ловок батяня твой был. Давай-ка еще поширкаем.

Два кряжа комлевых навалили они на сани и вершинником их обклали, веревкой притянули и заверткой завернули для крепости Спиридон нарочно воз по всей форме сделал, чтобы поучить Миньку, но тот посоветовал:

– Надо бы еще клином расшить.

– Клином?

– Деда так делал.

– Ну, брат, ученого учить – только портить.

Отцов пень действительно был велик. Минька добрую сугробину с него свалил и увидел щепки почерневшие, залез на него и расставил широко ноги. С этой вот стороны отец, наверное, стоял, так же вот, как и Минька сейчас, ноги расставлял, и топор, может, тот же у него был, с которым Минька теперь ездил, и звон тот же, и гимнастерку, и улыбку, которую видел на фотографии отца, Минька пририсовал – и ожил отец в воображении. Минька зардовался, запрыгал на пне.

– Вот это тятя так тятя! Мо-ло-дец!

– Иван-то бы Ефимович да не был молодец! – поддержал его Спиридон.

– Будто живой, будто тут он!

– Это, брат, хорошо. Этого и надо было.

На время исчезла с Минькиного сердца надсада, которая держала в тисках его эти дни. Он будто бы стал таким же, как и все мальчишки. Когда же Минька дал сена коню и лег спать, к нему прилетели и теснили горло короткие миги счастья. Минька открывал рот и ширил глаза, поднимал голову, словно хотел лучше увидеть и услышать их. Вот перед глазами явился Спиридон, подмигнул ему и вроде лег рядом, сказав, что и Миньке спать надо. Минька руку на него закинул, и тяжелая рука Спиридона легла на нее и погладила. И Минька уснул, мягко распустив губы.

Тетка Настя пришла под вечер девятого дня. Поставила на стол поллитру и вынула из столешницы стаканы. Лицо тетки было красным от мороза, обветренным солнцем. В какую пору ни погляди на тетку, она всегда сердится. Губы у нее синие, словно тетка только что ела чернику. Чем больше выпьет тетка, тем сердитее становится. Ловчее ее ругаться в деревне нет никого. Драться тетка Настя тоже ловкая и хорошо усвоила драку по-мужски, с матерщиной, с палками. Мясистые темные кулаки она выставляет как бы напоказ. Кость ли она за столом

обглаживает, подпирает ли тяжелый подбородок – прежде увидишь ее руки, похожие на чугунные ступни.

– И зачем ты эту холеру притащила? – заворчала бабка Ольга.

– А как же? – подняла тетка маленькие зажиревшие глазки. – Тятя девять ден. Не помянешь – сниться будет. Вас не заставлю, сама выпью.

– Приходила бы со Спиридоном.

– А когда он со мной ходил? У него своя компания. Приезжие да начальство. Вместе-то еще и подеремся, а ему стыдно с синяками ходить. Власть.

Ребятишки и бабка боятся тетки. На дедовых похоронах тетка, красная от вина и гнева, орала во все горло о деньгах, скопленных стариками и где-то припрятанных. Денег не было, теткина жадность их придумала, с чем же пришла она сегодня? Тетка стакан выпила, поела подсушенную картошку и начала:

– Я о бане поговорить хочу. Зачем вам эта баня? Помыться, так и к нам придете. И дров и воды не спрошу с вас. Гнить только попусту она будет. Я бы из черной белую сделала. Светло, жарко, чисто – мойся на здоровье.

– На баню не зырься, Настя, – сказала бабка и отвернулась к окну.

– Тебе-то и помолчать бы, – возвысила голос тетка, – ты тут короткая жительница. Скоро ко мне попросишься. Шла бы уж сразу, а их в детдом. Отправляют, так хватались бы. Еще ломаются. Х-хозяева!

– Помолчи-ка и ты, – тихо, но твердо перебила ее бабка. – От их никуда не пойду. Умру с емя. Это оставить сирот и уйти! Как же сердце-то на это повернется? Я их с пеленок поднимаю. Они мои единокровные.

– Жалей, жалей. Они первые тебя из дому вытурят.

– А пусть, пусть. Туда мне и дорога. А ты на какие муки переманиваешь? У тебя их трое. Не сядут оне на мои руки? Сядут – вот я и нянька и наймушка. Я никто при двух-то хозяевах. А тут как-никак старшая.

– Старший-то, вон тот звереныш, – кивнула тетка на Миньку. – Вон как он коня-то отобрал. Мал, да удал. Трахнуть бы его тогда, и полетел бы шаром. Пожалела – сирота. На первый раз пожалела. «Слыхано ли, по деревне говорят: Минька коня не дал!» Ишь, какой настырный!

Минька у железной печки грел ноги, исподлобья взглядывал на тетку.

– Ишь, какой колючий. Червяк, а туда же, в хозяева.

– Пусть, пусть научается, – сказала бабка. – Я шибко рада, что парнишка сурьезный

– Этот сурьезный по горбу-то и наkostenяет.

– Гав! Гав! Гав! – неожиданно передразнил тетку Минька.

– Это ты кого передразниваешь? Тетку родную? Отцову сестру? Я к ним на девять ден, а они вон как! В детдом, в детдом вас, хулиганов. А баню – не отберу, так высужу. Тятя покойный – и мой отец. Вы-то всего мнуки, а я дочь, и мне пай есть. Дом не прошу – баню отдавайте.

– Дом уж лучше, дом возьми, – язвила бабка, – детишек в детдом, а домишко себе, а там и всю постройку. Не об этом думаешь?

Теткино лицо, рассеченное морщинами, налилось кровью. Она вскочила со скамьи, с кулаками подлетела к Миньке. Парнишка не колыхнулся, лишь руками перехватил коленки и лицо в них положил.

– Тронь-ка его. Я тебе шары-то повыцарапаю. Я в те шарахну чугуном кипяченым. Не тронь сиротства их. Ты беды такой не ведала. Баню, злыдня, увидела. Мало ей лесу кругом. С вашими силами ее в два дня сделать можно, лезет на готовенькое-то. А коня – даст Минька – бери, не даст – иди с богом. Самим надо. Ты колхозница, иди в контору, любого дадут коня. Да и мужик вон кто. Тут и просить не надо, хоп за узду – и поехала. Не надо так, Настя, не надо, допей и уходи.

Настя налила стакан и выплеснула в широкий рот.

– Мне тятя единый не только баню обещал. Он и швейную машину, и валенки новые обещал, и телку от Красули, если хотите знать.

– Тебе бы сказки сочинять, Настя, – сказала на то бабка.

– Так вот. Если надумаете в детдом, все это не сдавайте в колхоз, а передайте законно мне, а пока что пользуйтесь.

– Спасибо тебе за милость.

– Тебе и Гнедка, поди, отдать? – не торопясь, чтобы не задохнуться в гневе, спросил Минька.

– Я и так запрягать буду – уж тебя-то на этот раз не испугаюсь.

– Не испугаешься?

– Эко глазами-то пугает! Эко спину-то выгнул, как кот! Испугал ведь! Вишь, как я покраснела, вишь, ноги-то затряслись.

– Ты меня выведешь из терпения, тетка Настя, – как можно басовитее сказал Минька, поднялся от печки и направился в сени. Там звякнуло поволоченное по полу железо, и тетка выскочила следом, едва не сбив в дверях парнишку.

– Это на тетку с топором! – кричала она у ворот. А Минька уж отвязывал собаку.

– Звереныш! Ну, погоди, погоди. Сунешься за чем-нибудь.

Тетка в ставень поколотила еще, и, когда все затихло, бабка сказала:

– Так-то, Миня, не надо бы. И пойдет опять слава. А силы-то у те мало, чтоб заступиться за себя. Тебя и обвинят.

– А как бы ее выжить? – ослабевшим голосом спросил Минька.

– На меня надейся. Я тут – вас не тронут.

Бабка с Лидкой все же потаскивали сено для коровы, и скоро его осталось совсем мало. За речкой есть еще малый стожок, который жаль было распочинать. Запрягши коня, Минька вошел в избу и сказал Лидке:

– Собирайся.

– Куда же ты, Миня? – спросила бабка.

– Сенишко-то все стравили.

– Да уж там бы, по теплу.

– Собирайся, – повторил Минька, и Лидка засобиравлась. В бабкином полушубке Лидка совсем стала кругла. Минька надел дедову доху и упал мешком в передок. В накинутой курмушке бабка проводила их за ворота, наставляя:

– Протопчите, говорю, протопчите снег-то. Увязнете.

Это был первый самостоятельный выезд Миньки, оттого он немного тревожился. Конь, обдав запахом помета, легко затрусил за деревню. Лидка молчала, замороженная бедой. Она только и могла эти дни думать о замужестве – такая отчаянная мысль пришла ей в голову. Это ей до семнадцати еще год ждать и мучиться в такой жизни. На семнадцатом году вон сколько девок вышло – они-то и оказались счастливыми. А которые выходили позже, все с ними как-то не так. Ей бы в чужое село выйти, чтобы не знали о ее сиротстве, а в своем выйти трудно: нет отца-матери – значит, ни к чему не приучена, ни шить, ни вязать, ни постирать хорошенько не умеет. Оно если в своем селе, то лучше убегом, чтобы – вот я ваша невестка, отворачивайтесь, бранитесь; у Лидки свое на уме, не глупа Лидка, она будет приглядливей, она все переимет у свекрови, всему научится и работать будет много и тем по нраву новой семье придется. От этих дум бабкин дом ей стал чужим, она тут временная птаха, ей только прокормиться, чтобы годочек этот пробежал быстро, как сон, чтобы завтра подняться – и тебе семнадцать лет. Или умереть бы ей на этот год, потом ожить. А такая она ничего не значит. Зимой, как бросила школу, сходила в клуб и сразу поняла, что не значит сейчас она ничего. Избач, толстозадый Гошка, надсмехаясь, подсел к ней и сказал: «Такая малютка пришла в клуб», верно, он же

сказал потом: «Девка из тебя выйдет первейшая, только джужь, берегись шпаны разной, а в клуб бы тебе и вовсе пока не ходить».

А верно ли Лидка знает себя? Верно ли, что мало умеет-то? Она хлеб печь умеет, этому ее отчим научил после смерти матери. Она жать и косить умеет, за пчелиными колодами ухаживать. Минька боится пчел, она не боится, хоть и кусают ее. Она готова к перемене жизни, только годов бы ей поболее. А с лица она уже на взрослую походит, у губ – ямочки, а как засмеется, завлекательность появляется. Эту свою особенность – быть приятнее в улыбке и веселости – Лидка вовсе недавно заметила, любуясь перед зеркалом.

Раз ухажер за ней увязался. С мелкотой шел, балагурил, а у ворот крикнул: «Лидка, погоди». Это был толстозадый избач, который осторожничают Лидку учил. Велит осторожничают, а сам сыплет за Лидкой, учитель-то. А то еще в избу Лидкину припорол, правда, не один, с учительницей, но это для отвода глаз. А коли посватался бы, что бы Лидка ответила? Ой, ой, что она говорит, что выдумывает. Да нет, и посватался бы – не пошла за него, за толстозадого хомяка, а за Ильку Сорова, хоть тому и двадцать, пошла бы, только позови. Пусть бы долго он не женился. Пусть бы холостяком в армию ушел, она росла бы тем временем и дождалась бы его. Да что она опять выдумала – ждать? Ей на роду не написано ждать, так она одинока, так постыла всем, и скорей бы летели годочки мимо нужды, мимо пустых взглядов людских. Все шмутки материны за войну перешиты, перекроены, платишко одно держится, а как оно свалится, что делать? Есть молоко, есть приварок, мед есть – кадка полная, да город далек, а то поменять можно было бы что-нибудь на одежку. Чем больше думала Лидка об этом, тем тошнее ей становилось. Мучилась Лидка, толкала ее дума от людей, стыд рождала ежедневный, и раз вырвалось из груди такое, что напугала и Миньку и бабу: «Да что же смертушка-то меня забыла? Что она за мной не идет!» Бабка глаза на нее выпучила, перекрестилась и сказала полуголосом:

– Вот этого я от тебя еще не слыхала. Да ты, девка, очумела, или чо ли. Ты как могла такое сказать? Выкинь из башки своей такое, выкинь и выкинь. Заживем и мы и какого еще женишка подхватим.

У бабки на смерть деньжонки были припрятаны. Она сунула их соседу, и тот привез из города ситчику на платье, бязи на рубашку и катанки – враз разбогатела Лидка. Миньке бы надо, хозяину дома, а она все на Лидку истратила. В этой обновке Лидка и сходила в клуб...

Лидка посмотрела на брата, на маленькую горку шкур собачьих, из которых один нос выглядывал. Такой хозяин Этот Минька, что Лидку одну и в клуб не пустил, сел там в уголок и кашлем сухим напоминал о себе. У дома с девчонками не дал постоять.

– Давай иди, а то ворота запру. Давай иди, а то собаку спущу.

Девчонки в клубе все выталкивали Лидку сплясать, тащили в хоровод, а в хороводе вытолкнули на круг, и все дивовались: рано, мол, задевичилась. Им рано: мать, отец есть, а Лидка сама за себя ответчица.

Дремал, что ли, Минька в передках саней, не слышно было его. Гнедко припотел, это значит, что скоро и зародик, который Лидка с дедом косила. Калтус проехали и речку, по весне бурную, все межгорье ею полнится. Вот и релочка – островок калтусный. На ней, не как на болоте, растут стройные сосны, здесь стоял их летний балаган. Гнедко всхрапнул и заржал тихонько, вспомнил, должно быть, что пасся здесь летом с кобыленкой. Вот и зародик, весь в снегу, почти сровнялся с белой пеленой снега. Как подступиться к сену – с какого края заехать? Минька заворочался вдруг, стряс с себя доху, приплясывая, похлопал рукавичками и просвистел.

– Что, Миня?

– Видишь?

– Это как же мы добудем его?

– Как-нибудь, – сказал Минька и пошагал к зароду, проваливаясь по пояс.

– Иди за мной, – приказал Минька, и Лидка полезла за ним, падая то в одну, то в другую сторону, взмахивала руками и жалобно повизгивала. Так они пробились к зароду, оставив за собой сизые буруны снега. От зарода другую дорогу пробили и вышли к саням раскрасневшиеся и горячие.

– Давай порожняком по нашему следу проедем, – сказал Минька. Гнедко – как в реку: с храпом вошел в снег, зачастил ногами, порывая сани, словно знал, что ждали от него хозяева. Так они проехали еще раз и поставили коня у зарода, промяв снег, чтобы сани не шатались.

– Куда ж мне тебя? – поглядел Минька на сестру. – Воз класть будешь?

– Смотри, Миня, – сказала Лидка.

– Я его зачну. Тебе легче будет.

Минька перекинул вожжи через зародик, один конец привязал к оглобле, а по другому стал взбираться на зарод. На него валился снег. Минька кряхтел, отплевывался, одолел-таки подъем и встал на вершине, подбоченившись.

– Поддай-ка вилы, – сказал он. Когда сена было сброшено много, Минька зачал воз, любовно выклат основание. – Вот так и дальше. Не разваливай, сам развалится под бастриком. Давай лезь на мое место. – Минька указывал, куда класть навильник. Воз подрастал и разлепeshивался, накренья на сторону.

– Ты вправо поехала, – досадовал Минька. – Ты влево побольше клади. Видишь, конь как стоит, так от коня – это лево.

– Ты показывай мне, – уступчиво говорила Лидка, – где лево-право, я запутаюсь.

– Есть где запутаться. Ты повернись лицом к коню, и вот те право и лево.

Лидка стала класть как велено, воз расплылся еще больше и теперь грозил свалиться влево.

– Баба, она баба и есть, – ворчал Минька. – Не знаю, как теперь воз выправлять. Давай на середку клади. Как уж ни есть, бастриком придавим.

Лидка стала класть на середину, получилась шишка, которая вздрагивала и шаталась, как живая. Лидка потянулась за навильником, но тут же руки подняла, завизжала, падая в снег и сваливая на себя сено. Едва из-под него выпорхалась, а Минька накинулся на нее с руганью:

– Чучело! Вся работа зазя пошла. Бери вилы, чучело, и подавай. А туда же – по вечерам.

– Беда, находилась. Раз в жизни, и то с подглядом.

Минька засмеялся, смягчившись:

– Я не подглядывал. Я, Лидка, хотел узнать, как ты в девках выглядишь. В девках ты выглядишь плохо. Плечи как-то сутулишь, а в хороводе покраснела вся. Сунь спичку – и загоришься.

Лидка смолчала, ждала, что еще скажет брат.

– А этому толстозадому девок старших мало, увязался за тобой? Жениш-шок!

– Хватит тебе. Давай воз накладывай. А то Гнедко весь в куржаке.

– А что, и вправду, – подшучивал Минька, залезая на воз. – Образованной будешь. Книжки с ним читать будете.

– Я вот те вилами пырну.

Лидка устала, платок с головы сполз, к припотелой шее липли сенинки и зудили ее. Сил не хватало брать сено аккуратно. Она суетно тыкала вилами, поднимала над собой взбитый клок, теряя половину на пути к возу. Минька крякнул и наконец не выдержал:

– Вот работница, так мы с тобой и к ночи не управимся. Давай пластами.

– Какими еще пластами?

– Ну, сено пластами слежалось, вот и бери их. Городская, что ли?

– А не умею, так сам и подавай.

– Дак я в цирке не работал, чтоб на возу и на земле.

– А мне вовсе никак не надо. Тебе надо, а мне нет. Ты Иваныч.

– Это почему же тебе не надо? Или ты чужая? Или «я работница тому, у кого буду в дому».

– А вот и буду.

– Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. Навильника подать не может, а туда же. Невеста, чучело огородное. С тобой намучаешься до дому.

– Чучело, чучело. Я бабе скажу, как ты...

У Лидки губы задрожали, враз покатались слезы. Закрыв лицо варежкой, откинув вилы, она слепо пошагала от воза, сбиваясь с пробитой дороги, громко сморкаясь и плача. Минька виновато поскреб затылок, сбил труху с шапки и присел на возу, следя, как Лидка, выбравшись на торную дорогу, уходила, уткнувшись лицом в руки и вздрагивая плечами.

– Ну ладно, хватит, пошутил же! – крикнул Минька, но Лидка не слышала и уж спустилась за релочку, и, как мелькнул еще раз ее платок, Минька испуганно вскочил на возу и во всю силу заорал:

– Лидка! Воротись! Я кому говорю!

Лидка ревела уж не над этой обидой. Она ревела над всей бедой, которая охватила ее больно, такая боль схватила ее, что хотелось упасть в снег, зарыться в нем и больше не вставать. Минька же начинал злиться. Краснея, пуча глаза, взмахивая руками, он орал, пока не почувал холод в горле:

– Лидка, вернись. Лидка, змеиш-ша! Лидка! Змеиш-ша такая!

Когда успокоился, стал думать, как одному воз намять. «Иваныч, значит, – прилетело ему в голову прозвище. – Вишь, обозлить меня хотела «Иванычем». А вот Иваныч и есть». И Минька улыбнулся слову. Это потому он Иваныч, что возьмет сейчас и один воз накладет. С воза он сполз на круп коня. Погладил, посметал с него куржак. Снизу воз велик, но еще класть и класть надо. Минька походил вокруг него и взялся за вилы.

– Один накладу. Дуреха психованная.

Клал Минька воз и боялся, как бы конь не дернул, потому что продрог и нетерпеливо переступал с ноги на ногу, оглядывался и мотал головой. Бастрик затаскивать – опять пришлось на лошадь забираться. Воз, как супонь, затягивать одинаково, гирей свесился Минька на перекинутой за бастрик веревке. Воз осел, хоть и остался живым и жидким. Когда подъезжал к дому, опять Лидкино слово вспомнилось.

– Ну и что такого? Иваныч так Иваныч, оно тоже не плохо.

Бабка Ольга, поджидая, стояла у ворот и, как увидела воз, навстречу ему шагов десяток проковыляла.

– Минька, Минька! Настя-то ведь что наделала. Машину колхозную подогнала и баню-то...

Слез у бабки не было, она уже давно плакала без слез, но раза два спрятала лицо в коричневые руки.

– Я говорю: подожди Миньку. С ним по-доброму бы. Как украла! Так торопилась, что углы у бревен посшибала.

Теперь дом вовсе оголился. Баня ему как бы компанию составляла. На отшибе торчали стайка коровья и загончик Гнедков, а вокруг дома хоть хоровод води. И как так получилось, что дом не удержал подле себя всего, что насобиралось годами? Увезли для колхоза скотник и сделали большой, артельный. Увезли амбарушку и сделали тоже один большой амбар. Не для чего стали заборы, их помаленьку на дрова изрезали, одни столбы лиственные торчат. Последний угол держался – банный, теперь и этого не стало.

– Дак ты что же, баба, не пужнула ее? – сказал Минька, глядя на рассыпанную каменку, на гнилые половицы, на предбанник, который оказался так ветх, что ковырнули его, и он похилился, держась на одном столбе. В нем шайка валялась перевернутая – иди, Минька, мойся. Минька сметывал сено и думал, пойти или не пойти к тетке, хотя бы поругаться. Там дядя

Спиридон, он власть сельская, и хоть муж он тетке, но и верный отцов друг. Скажет он слово, и тетка опять машину возьмет, опять платит и расходует, и так ей и надо, опять мужиков собирает, бежит в магазин за пол-литрами, и вот уж и баня на месте, вот уж два, да что два – пять мужиков крышу кроют и предбанник налаживают; а Минька ходит тут же и показывает, где и как надо сделать, чтобы баня завтра же затопилась. Видит он тетку смиренной, пристыженной до крайности, озлобленной от напрасных потрат. «А ну, тетка, еще захочешь чего взять?» – спрашивает Минька, и тетка молчит. Вот какая сила в Миньке, вот как он все может поворотить.

Подтощавший Гнедко из оглобель просится, с утра до потемок в запряжке, в хомуте новом, необношенном. А Минька и не видит, как конь бьет копытами, как ржет нетерпеливо. Спихнулся – что же это он, как он о коне забыл? Вспомнил Минька, как дед, напиваясь, входил в избу и кричал ломливо: «Кто в доме хозяин?» И бабка подбегала к нему, разудалому, доху снимала и говорила щебетливо: «Ты в доме хозяин, ты, Ефим Васильевич». Оттого в деревне деда и звали «Кто в доме хозяин». Вот Минька, какой же он хозяин – о коне забыл, о самом главном.

– Сейчас, сейчас, Гнедко. Вот последний навильник.

Распрягши, увидел, хоть и было темно, что хомут припотел, но плеч коня не сбил. Клоком сена стер стылый куржак с коня, с носа сосульки безбольно снял и корму задал, потом уж пошел в избу и застал там дядю Спиридона.

– Как хомут? Впору пришелся? – спросил он.

– Хомут добрый, – сказал Минька и вроде не вовсе понял вопроса: о Гнедковом хомуте спрошено, о другом ли каком?

– Как раз, значит. Это хорошо. А я насчет бани.

Только что на возу думал Минька о Спиридоне и о бане, а он уж тут как тут.

– Такое дело, Иваныч, с баней этой. Насте она отходит, такая воля деда твоего. Ну надо же, надо же ей было лезти. Ах ты, боже мой, какая жадность. Ну, хоть на паях как-нибудь согласилась бы.

– А как там в книге написано? – спросил Минька.

– Да баня Насте, дом тебе.

– Одному?

– На тебя записан. Видно, дед так рассудил: Лидка замуж выйдет, бабка умрет. Тебе везти воз хозяйский.

Минька поглядел в окно на остатки исчезнувшей бани и махнул рукой. Дед правду свою, Миньке непонятную, завещал живым. Спасибо ему и за то, что уверовал в Миньку и дом отписал.

– Дом твой, Миня, – продолжал Спиридон. – Как исполнятся года, бери и хоть продавай, хоть хозяйничай. А только я ведь опять к тебе по тому же делу. Звонят из района. Сама завроно заинтересовалась. Как так, говорит, единолично. Я ей: разруха же, абы как прокормиться эти лета. Война же, говорю, такая позади. Никакого, говорит, такого хозяйничания. Словом, она завтра сама явится. А мы с тобой должны заранее договориться, за тем и пришел к тебе.

– Это в детдом, чо ли, опять? – спросил Минька.

– Туда. Речь идет об одном тебе – Лидку я упросил в колхоз принять. Она хоть маленько на работника похожа. Бабка может и не подавать заявления. Она механически выбывшая по старости. Ведь ты была, бабка, в колхозе-то?

– Отколхозила свое.

– Ну вот, тебе и не надо. Ты живи с Лидкой или Настей. Ну, какое твое последнее слово, Иваныч?

– Не поеду, – сказал Минька и подпер подбородок рукой.

– Ясно дело. Я буду твою линию гнуть. Этот детдом мне когда-то шею натер. Как вспомню, по сердцу боль пойдет.

– А что же те-то, районные, меня и не спросят? – допытывался Минька.

– Они спросить-то спросят, а гнуть будут свое, взрослое дело, политическое, а нам с тобой политика одна: как в тебе человека сберечь. Этот годик, эти два годика как помочь тебе пробиться – а там ты колхозник, там сам начнешь зарабатывать. Вопрос, брат, капитальный, Иваныч. Чтобы тебе при родной бабке-то, пока жива, родное-то чуялось, чтоб меньше боли-то на душу получалось. Ты, брат, от этой, а я от той войны сирота, и мы вроде родня с тобой. Тиф родителей скосил. Была тетка, были дети, старшие братья, а я никому, оказалось, не нужен. Жена братова с подушки начала, подушку у меня отобрала и себе в перину вывалила. Потом и за дверь меня выставила. Старший-то брат после оправдывался: «Я ту перину ножом изрезал и по ветру пустил», да мне-то какая польза от того? Пошел я по дядьям да по теткам, и те косятся. Чего-нибудь, правда, нальют, хлебца дадут, скажут: «Ну ладно, ступай». У тебя, Миня, бабка, держись за нее. Это тебе какое счастье, что есть бабка-то. Береги ее.

– Да уж они меня берегут, – вставила бабка. – Я за ведро – отберут, я за помело – выхватят, я к поленнице – опередят меня. Веку бы мне дал бог, я ведь хворая-хворая, шибко хворая.

– Живи, бабка! Для них. Тебя на том свете в святые поставят! На том и на этом. У меня никто в святых не оказался. Последний-то дядька в другом селе жил. Я в рождественский мороз к нему босиком, за восемь-то верст.

– Босиком вовсе? – испуганно спросила Лидка.

– Ну, не вовсе, чулки драные на мне были. Потру ноги да дальше. Дядька-то как-то раз мне улыбнулся. Ну, думаю, приютюсь у него. А он покормил и сказал то же: «Ступай назад». Босой-то назад! А тут у него мужик пригодился – сидит. «Пойдешь, – говорит, – шевяки убирать ко мне?» Я мотнул головой, пойду, мол. «Айда за мной».

И привез меня к себе, обутки старенькие дал, мы с девчонкой его и убрали шевяки из-под скотины, и чисто убрали, все под соломой прощупывали, сам хозяин проверял и хвалил нас. И вот тут я вроде зажил. Поставит хозяин на стол кринку молока и калач мерзлый: «Ешьте». Я даже богу стал молиться за спасение свое. А тут учитель привязался: «Давай, я тебя в приют пошлю. Там койки железные, одеяла и простыни чистые, мыло, баня, хлеб белый». И польстил я на это и отбухал там пять годков. В тринадцать лет я убежал все же. Да к тому же хозяину, а там уж перемена. Баба умерла, он на другой женился и стал тряпка тряпкой, мачеха девчонку замордовала, где уж тут мне. А был я уже на ногах, в пастухи подался. Вот такая моя история, Иваныч. А меня, брат, уже поругали за хомут этот. И как быстро все узнается. Два дня ли, что ли, прошло, а уж оттуда звонят: «Это ты кому хомут-то купил?» Да пропади он весь, этот индивидуализм, а тут ведь дело особое. Я при той бабочке районной помалкивать буду, а ты отбивайся руками и ногами. Я молчанием отобьюсь, а ты словами – а линия будет одна. Слышь, за окошком-то не тебя кличут?

– Да каждый вечер вот так, – сказала бабка.

– Это ребятишки, – пояснил Минька, – делать им нечего.

– Они играть его зовут, – объяснила бабка. – Я ему говорю, сходи поиграй, отправить не могу. Скажи им, Миня, седни не могу, мол, наигрался с вилами.

Ребятишки не унимались, побрякивали заложкой ставни, и Минька, одевшись, вышел. У ворот его сразу подхватили трое.

– Давай, Миня, покатаемся. Что ты дома да дома? Бери вот эти санки. Да что ты стоишь? Посадить тебя, что ли? Вот так его, ребята. Ремнем привяжем, если не захочешь кататься с нами.

Миньку усадили в санки, сзади подтолкнули, и он покатился под горку и снова ровесником стал им на эту минуту. Так легко и бездумно стало ему. Он ухал на ухабах, ногой выправлял санки, чтобы на сторону не съехали. Под горой в кучу сбились мальчишки, посваливали друг друга, Минька не противился и оказался под ними.

– Да что, Минька, с тобой? Всех нас борол, а тут рукой не махнешь.

– Он теперь не Минька. Он Иваныч.

– Эй, Иваныч, бери санки да в гору. Кто вперед!

Ребятишки, визжа и подпрыгивая, унеслись в гору, а Минька едва поднялся со снега, чувствуя слабость в коленках, потянул руку за санками, а рука плохо гнется, и слабость охватила все тело. С трудом он зашел на гору, толкнул санки мальчишкам и пошагал домой.

– Иваныч накатался.

– Иваныч баиньки отправился.

Когда Минька пришел в сельсовет, городская женщина сидела за столом председателя.

– Этот? – спросила она Спиридона и помялась на сильных локтях, опертых о стол, устало ссутулилась, будто сделала за утро великое дело и притомилась, а предстоит ей прорва работы. Брови ее нахмурены, лицо каменное, губы строго подобраны.

– Он, – сказал Спиридон и незаметно подмигнул, отчего Миньке стало покойнее.

– Отказываешься ехать в детдом?

– Отказываюсь, – ответил Минька, исподлобья поглядывая на женщину.

– Вот это феномен, – сказала женщина непонятное слово, и Минька набрался храбрости:

– Зачем обзываете?

У женщины расширились глаза, руки ее подвернулись к бокам, она спросила голосом всполошенной курицы:

– Как это обзывают?

– Феноменом.

– А что это такое?

Видать, в классе понаторела, женщина любила разговаривать вопросами и глядеть навыкла не на собеседника – на плакат военного времени глядела она сейчас.

– Что же это такое?

– Может, матерщина, а может, прозвище какое, – сказал Минька язвительно.

– Да ты у кого это наострился так разговаривать? – удивилась женщина и спросила: – Так что же ты будешь делать, если не поедешь?

– По хозяйству, – покойно и певуче ответил Минька. – Дома работы по-за глаза.

– Проживешь?

– Как-нибудь.

– Фе-но-мен! У нас еще не было случая, чтобы отказывались от детдома, – обратилась женщина к Спиридону. – У нас очередь на места. Очередь! Вот что война понаделала. И тебе советую в детдом. Собирайся, Осинкин, такая твоя фамилия? Какой ты хозяин, Осинкин. Где-нибудь замерзнешь, отвечай за тебя. Так или нет?

– Не так, – буркнул Минька.

– Экий грубиянишка. Завтра, председатель, запрягай коня и вези его в город.

– А может, его и правда оставить пока тут? – вставил свое слово Спиридон.

– А вы знаете, как мы добивались этой путевки? А кто будет потом ездить к нам и вымалывать место? Вы что, хотите новых хлопот для себя?

– А поглядеть можно, какой он такой, детдом-то? – спросил Минька.

– У нас плохих детдомов нет. У нас они хорошие. Ишь ведь как: «поглядеть». Важная птица какая, поеду не поеду, захочу не захочу. Нет. У нас такого еще не бывало.

– Я сперва так съезжу. Хлеба наменяю. Я на белый хлеб, а Лидка с бабкой и черного не имеют. Я на Гнедке своем.

– Не говори-ка, парень, пустое, – жестко заговорила городская. – За сотню-то верст? На Гнедке своем!

– У них, верно, с хлебом туго, – сказал Спиридон. – А мед, ягоды есть. Ну, я могу все увезти на сельсоветском коне. Хлеба купим, Миня. Сходим в детдом, поглядим, а там видно будет.

– Не «видно будет», а точно – определить его в детдом. Бабке выделить из колхоза сколько-нибудь хлеба.

– Она не состоит.

– Единоличница, что ли?

– Да нет. Состояли они. Видите, сын в финскую убит. Ну, семьям погибших в Отечественную помогали как-никак. А их семью забыли. Вроде бы и не пострадали. Мать его вышла за другого, этих на стариков кинула. А они какие работники. Им не мешали как-нибудь прожить. Орешничали, ягодничали, медишко добывали. За шесть-то лет и отрешились от колхоза. Ладно, хоть не просили с него ничего. А тут мать и дед померли, такое дело. А насчет того, чтобы выделить хлеба старухе, так ладно, пуд-два выделим, а они спасут ее? Самое верное бы – оставить парня. Есть конь, есть дом, прожили бы как-нибудь.

– Ты, председатель, все к хомуту своему воротишь. У тебя лозунг: «спасайся, как можешь», анархию разводишь.

– Год-два, а там колхозу он во как нужен будет.

– Вы все с колокольни своей глядите. Колхозу нужен, а государству не нужен. Да кто это там все дверь открывает, поговорить не дадут? Что это за старуха заглядывает?

– Это бабка его и есть, – сказал Спиридон.

Как упомянули бабку, она тотчас и вошла, как спутанная, шурша жесткой юбкой. Седые виски выбились из-под толстого полушалка. Она увидела упитанную и сердитую женщину и заплакала, то есть завытирала концами полушалка сухие глаза. За бабкой с какой-то отчаянностью во взгляде вошла тетка Настя. За ней сторож сельсоветский и Лидка.

– Вы-то все зачем пришли, вас не звали? – спросила городская.

– А про Миньку узнать, что с ним будет, – сказала бабка.

– В детдом его отправляем. А тебя либо к дочери, либо в колхоз с внучкой.

– Ай, умные, ай, рассудительные какие, – запела бабка, качая головой. – К дочери я и без вас дорогу знаю. Вот она, рядом, скажу «иду» – и не прогонит. А колхозу нынче и без меня тягостно, в дармоеды к нему, что ли? Или в доярки меня? Я бы там отпилась молочком. Ну, вот не гоюсь никуда, гоюсь в распорядители одни.

– В какие распорядители?

– Умом не выжила – Лидка, иди туда, Минька, делай то, и проболтались бы до годочков-то ладных. А я ишо могу, я сидя-то распоряжаюсь. А дочке моей чего надо – ей няньку надо, зыбать новорожденного.

Тут вперед выскочила Настя и руки в бока подвернула.

– Видать, выжила умом-то. Сиди у окошка и гляди на дорогу – вот и вся твоя работа.

– Не о том ты, Настя, думаешь, не о том, – говорила бабка, промаргиваясь. – Гляжу вот на тебя: на языке одно, на уме другое.

– Это что же на уме моем? – подняла голос Настя.

– Ты мне про что на днях намекала? Про деньги какие-то?

– Это ты чо же, мама, говоришь? – бесстыже уставилась Настя на мать круглыми глазами. – Я ить только прикинула: тятя жил индивидуально. Продавал мед, ягоду, орехи, знахарил. Это мы чертомелили.

– А на что же мы детишек кормили? – спросила бабка.

– Должны быть деньги, так соображаю, – сказала Настя, уже не скрывая мыслей, а бабка обратилась к городской:

– Вот она и зовет меня к себе. Дак, если я без денег приду, что же будет со мной? И про Миньку у ей одно на уме – детдом и детдом. Лидку хочет спихнуть за какого-то вдовца дальнего, а ей шестнадцать годков в Рождество исполнилось. А дом-то кому? Дом-то себе, а?

– Ты, мама, рассуждаешь, как ярая единоличница, – переходила к политике Настя. – Ты пожила в войну-то неколхозно, язык-то тебе и разъело. Ты только и думаешь о деньгах да о домах.

– Все мы в войну-то огородами жили, – отвечала бабка, – Абы как выжить. Все мы спасались огородом да тайгой. Ты меня не попрекай этим, – задрожал голос бабки.

– Ну, политики, – растянула слово городская. – А ты-то, девочка, зачем тут? – спросила она Лидку, чтобы покончить с прежним разговором.

– Это внучка ее, Лидка, – ответил Спиридон.

– А! Ну, ты-то как будешь? Хоть за скотом-то в колхозе ходить сможешь? – Лидка молчала, тоскливо уставившись в промерзшее окно. – Чего же ты молчишь?

Лидка вдруг уронила голову на руки и завывала, меж пальцев покатились слезы, и Спиридон не удержался, подошел к ней и потряс за плечо.

– Да ты чего это, Лидуха? – заворковал он ободряюще. – Вот не ожидал. Такая хозяйка, такая проворная.

– Плакса добрая, – сказала Настя. – Чуть что, так и за слезы, Минька скажет – плакать, бабка поворчит – плакать.

– У ей вся защита – слеза, – заступилась бабка, – шибко слезливая стала, это правда. И подумайте – одну оставить. Нет, я в своих стенах помирать буду, и детишек не трожьте, оставьте при мне.

Сторож сельсоветский, старик чуть помоложе бабки, побряхтел, присев на подоконницу, поцарапал затылок, столкнув шапку с седого, еще кудрявящегося чуба и сказал:

– Дела! – И может, ничего больше не добавил бы, если бы Спиридон не спросил его:

– Скажи-ка, Тихон, и ты свое слово.

– Это куда же вы парнишку спроваживаете? – заговорил он порывисто, словно боялся, что перебьют его и не дадут высказаться. – Будь он мой мнучок – живи, и никуда. Пока я не издохну. Много ли мне надо, а все бы ему, все ему. Это ведь помыслить только – отдать от бабки, какая она ни больная, в чужие руки.

– Теперь, кажется, все высказались, – сказала городская. – Твое слово, Осинкин.

Во время разговора Минька стоял у печки, приткнувшись к ней плечом, и о нем забыли, отгороженным спинами, а тут отступили, и Минька поглядел на Спиридона сузившимися, словно подремывавшими, глазами.

– Поехали, дядя Спиридон, – сказал он, и все зашевелились и усталились на Миньку. И долго в комнате было тихо, и только слышалось с улицы, должно быть, с наличника, воркование голубя с голубкой. Лидка вдруг опять ударилась в слезы. И так все вышли под громкий Лидкин вой.

На рассвете Спиридон с Минькой выехали в город. Оба они сидели на санях переднего коня, сельсоветского Воронка, а привязанный Гнедко шел сзади.

– Задачу ты задал заву роно своим словом «поехали», – подмигнул Спиридон Миньке. – Она вроде и обрадовалась и нет. Руки-то важно уперла в стол, козонками-то как пристукнула, де все сделано, парнишку в детдом и баста. Измучилась как она от беседы, зевать принялась. А какую ты продажишку взял?

– Котелок меду, полмешка ягод и орехов с пуд.

– Торганешь ладно. Валяй, Минька, торгуй. Таким делам твоим я помощник, – сказал Спиридон и хлопнул Миньку по спине, отчего звякнули ордена и медали под дохой председателя. В деревне он их не носил: все видели, все знают наперечет. А в городе понадобятся, потому что по Минькиному делу он едет и по своим сельсоветским делам, придется ходить по учреждениям, и в разговорах награды играют не последнюю роль. Мартовский мороз не цепенит губ, не залазит в варежки и катанки, щеки лишь пощипывает и нос подхолаживает. Солнце

видишь только на взлобке, а так все лес и лес. Желтый свет держится у верхушек деревьев, искрами перемигиваясь в осевших снегах.

– Ты бы, дядя Спиридон, о войне рассказал, – просит Минька. Спиридон сенинку в губы взял и мял ее, глядя в пестроту леса.

– Плохой я рассказчик, Миня, – скосил бровями на Миньку. – А живет она и посейчас в голове кружением каким-то. Вроде отошедшей болезни. Тебе ведь надо что–нибудь геройское, а геройского-то вроде и не было. Работа, Миня, была великая и жестокая. Совесть за человека становится, когда видишь, как война ломает его. Жалостливость запоздалая мучить начинает, Миня. Вот как сейчас вижу: сидим мы в палатке, крутим рацию, ловим немецкий разговор, будто вот они, рядом лопочут. А к нам в палатку заглядывают детишки годков по пять, худенькие, голодные, оборванные и грязные, и просят хлеба тоненькими голосами. Мы их кашей накормили и в тряпочку им каши завязали, хлеба дали, и пошли детишки по земле войны, без матерей и отцов, куда пошли, кто их там накормит? Я, брат, ой как хочу забыть ее, войну-то. Тебе ведь надо «бух» и «трах». А мне глаза этих детишек видятся. Ну, хватит об этом. Ты, Миня, как продашься, давай деньги мне. Не дай бог потеряешь или городская шпана вытащит. Я ведь знаю, что ты задумал купить?

– Ну-ка, угадай, – оживился Минька.

– Хлеба – это само собой. Лидке на платье, бабке на юбку. Остальные деньги на керосин, на соль и сахар оставишь.

– Почти что угадал, – сказал Минька.

– Ну, вот и хорошо, как раз к воскресенью, к барахолке подъедем. А себе что задумал купить?

– Себе косу новую.

– Фу-ты, батюшки! – хлопнул по полам дохи Спиридон, и сдержанным звоном звякнули медали.

– Ему – косу! Это что за Минька! А еще?

– Сот надо подкупить.

– Ну-у, молодец! Ты мир дивить собрался, – восторгался Спиридон, пытливо уставившись на Миньку. – Неужели правда, что ты об этом думаешь? Неужели такого человека ловкого породила та же война окаянная? А вот возьмешь и балалайку купишь. А?

– Балалайку покупать не стану, а как вырасту, гармонь куплю. Глядите, вот я каков, Минька-то Осинкин. Вальсы и танги разные выучу. Вот увидишь, дядя Спиридон.

– Ну, ты в отца пошел, не в деда. Дед твой дитей был до старости. И знахарство вроде забавы было для него. Вылечит – зарадуется, не вылечит – загорюнится. Настя зря про деньги говорит. Какие там деньги! У него сроду их не бывало. Они меж пальцев у него утекали, как семя просяное. Да и не из-за денег знахарил – просто любил помочь, любил человека.

– А ты любишь людей, дядя Спиридон? – спросил Минька неожиданно.

– Спросишь же ты, Миня. Как про себя скажешь? А вот было, было время. Не любил людей, да и себя тоже. Я в Москве лет восемнадцати оказался. Ну, знаешь, среди тысячи-то, миллионов-то людей, как в лесу. Орать охота. Мельтешение какое-то, как в пургу. Раз иду по площади, как потерянный, а меня хлоп по руке, я аж развернулся. А это машина меня по руке саданула, не мешай-де, не лезь куда не надо задавлю. В парнях я был шибко нелюдимым. И мнение имел о себе такое: зачем ты, червяк, выполз из земли. Езжу, кружу по свету, а думаю о себе: зачем выполз? И невзлюбил я эту тайгу людскую. А в войну со мной стряслось обратное. Весь он, этот люд-то, из плащей, из кож, из цигеек и модных туфель, из-под зонтиков разных в шинель залез, а из нее виднее, кто ты есть. Ну вот ты ученый, артист или черт-те знает кто, а тебя в шинель, тебя сравнивали, давай померяемся теперь, кто мы с тобой и как к этому последнему делу приспособлены. Ага! Я-то и оказался сильнее. Я им башмаки подколачивал, шинели подгонял. Я как-то сразу увидел, что всем нужен. Ага, ты в одну дыру залез,

а я всего миру нанюхался и из гвоздя могу струну вытянуть, и меня нарасхват. Капитан наш приметил меня и говорит: «Универсал, – говорит, – ты, Спиридон, коренной, – говорит, – ты, русак, из подковы щи сваришь». И почуял я, что любят люди меня. А капитан, так тот говорит: «Живые останемся, вместе куда-нибудь жить поедом, я, – говорит, – полюбил тебя, Спиридон, и от себя не отпущу». – «Теперь-то, – говорю, – останемся живые, мы уж по три раза ранены, заморожены мы от смерти, капитан». Верили, ей-богу, верили, что выживем мы. Только капитан-то не дожил, не дожил мужик, не пожил мы вместе. Да. А я в разведке у него был. Это не та, пехотная разведка. Это артразведка. В бинокль или в стереотрубу поглядывай, занеси все дороги, кусты, дома себе в книжку, измерь и подсчитай. Скажу, натерел здорово я в этом деле. Глаз-ватерпас у меня, и за то капитан ценил. «Талант, – говорит, – ты, Спиридон. Образования бы тебе, ты бы большими делами ворочал». Он в мой глаз лучше верил, чем в артиллерию свою. «Какая, – спросит, – какая дальь вон до той церкви?» – «Такая», – говорю. И точно: как мину пошлем, так она на местечко мое и плюхнет. Держался за меня капитан здорово. А в жизни был вовсе ни к чему не умелый. Начнет сам погон пришивать – и все не ладно, порет да шьет. Я говорю: «Давай-ка я вам пришью», а он как расхохочется: «Не полагал, Спиридон, не полагал, что в капитанах загуляю». Он любил это слово «полагал» и говорил все с мечтой как-то, и глаза у него были задумчивые. Я его все поддразнивал этим словом, «полагал». Он хохочет, и только. Ты не заснул, Минька?

– Нет, нет, рассказывай, – отозвался Минька.

– Это раз такое дело. Спрашивает он меня: «Ты женат, Спиридон?» – «Трое ребятишек», – говорю. «А я, – говорит, – не успел, и нет у меня никого. Давай я на твою семью свой аттестат запишу». – «Нет, – говорю, – это будет нехорошо. Так и дружбе нашей конец. Был капитан, был товарищ, а станешь кормильцем, опекуном. Обходились до того, обойдутся и дальше». – «Ладно, – говорит, – ты в этом прав. Я, – говорит, – ошибся». А получилось ведь как. В сорок пятом, уж после войны – бац перевод мне, и порядочный. Распорядился: деньги мои на такого-то переведите. В Москве-то я тогда тосковал в людском море и без человека. Вот бы тогда мне наткнуться на него. Не мерзнешь?

– Маленько, – сказал Минька.

– А у меня грудь пристыла. Я ведь в грудь был первый-то раз ранен. Давай споем, Минька, песней погреемся.

Спиридон запел «Землянку». Начал он песню с помыкивания, с повздоживания, туманясь взором, собирал на лбу морщинки. И потом уже вырвались слова, словно боль какая:

На поленьях смола как слеза...

Спиридон замолк на минуту и встряхнул головой, словно отогнал тяжелые воспоминания, которые теснили его. Минька ждал – и вот из дохи с паром и вздохом, с привизгом и пристоном вылетело:

И по-е-ет...

Опять отчаянно-горькое встряхивание головой. Кажется, в эти паузы Спиридон подыскивал, на какую высоту голоса поднять новое слово песни, находил, улыбаясь, и брал слово извивом высокого чистого голоса:

Мне в землянке гармонь.

– Ты, дядя Спиридон, поешь не как все, по-своему, – сказал ему Минька после песни.

– Я, Миня, душу в нее вкладываю. Как она у меня постанывает, так и песня выпевается.

За «Землянку» последовал «Синий платочек», за ним «Вставай, страна огромная». Эту песню пел Спиридон, поталкивая Миньку ногой – шел, стало быть, он в этот миг по военным дорогам. Спев песни, он закутался в доху и попросил Миньку:

– Ты, Иваныч, в Кебезени меня растолкай.

Переночевав в Кебезени у товарища, они отправились дальше. Спиридон и в санях спал до полдня, и за это время дорога стала меняться. Отступили кедры, сосны, почувствовав про-

стор, стали присадисты и разлаписты. Начались поля с ометами соломы. Минька оглядывался назад, словно что уронил позади, и в глаза лезли дом, речка, синие дали леса. Он вспомнил свой огород, где росли два кедра. Бабка нудила деда спилить их, он отшучивался, и деревья продолжали кидать свои густые тени утром на дом, вечером на огород, а днем на речку. Минька любил сидеть на берегу реки и наблюдать, как в тень деревьев заходят темноспинные хариусы и немо стоят, наслаждаясь прохладой. За речкой начинались горы, чем дальше, тем выше, – и горам тем, по словам деда, нет конца и краю и нет счета зверью разному. Дед ходил в унтах из кабарожьих ножек, в шапке из медвежонка, в дохе из косульих шкур, и она, живая, шевелилась и дышала на нем. Минька провожал деда до первого увала, и, как ни просился внучек идти с ним дальше, дед поворачивал его обратно, говоря: «Сам-то с собой слажу ли».

И Миньке представлялись муки разные, какие испытывал дед. Раз, только разик, довелось Миньке быть в горах, о чем он никогда не забудет. В горах, за ущельем, в которое ложилось спать солнце, было озеро, большое и глубокое, «родной брат Байкала», как говаривал дед. В другой стороне от деревни был город. Минька ждал деда то из гор, то из города. И, увидев, мчался к нему навстречу.

– Тятя приехал! Тятя приехал! – Так порой он называл деда, так его и Лидку приучили старики, чтобы меньше чувствовали сиротство.

– Гость наш явился, – напускно сердилась бабка.

Дед неторопливо спускался с самодельного седла, высоколукого, с пропотелой подпругой и с разнофасонными стременами, снимал его с коня и перевертывал, дымящееся, на бревна. С солдатским сидором на горбу заходил в избу. Из него вынимал карандаши и тетради, школьные учебники, ножичек перочинный и топорик-маломерок – это Миньке, и бусы желтые и лаковый ремешок – это Лидке. Бабке он покупал разные лекарства: хоть и сам знахарил и делал травяные настои, но бабка не верила в них и требовала городских настоящих лекарств. Себе привозил бутылку разливухи – водки, выкладывал из мешка коврижку хлеба или каких-нибудь скоропечных лепешек – и начиналось пиршество. Бабка пробовала лекарства из каждой посуды по чайной ложке, и какое из них горше, тем она и лечиться будет в первую очередь. Дед наполнял стопочку себе и стопочку бабке и подмигивал ей:

– Тяпни, мать.

Бабка обеими руками отмахивалась:

– Без этой холеры никак обойтись не может. Что бы мучки, а то все ее и ее. Ух, как дивно хлеба-то подзнахарил!

Дед улыбался и, перед тем как выпить свою и бабкину стопки, целовал внучат, щекоча их серыми усами и бородой.

– Погодите, вот кончится она.

Слово «война» он произносить не хотел – «она», и только. Коврижка хлеба разрезалась на четыре пайки. На столе ворошок печеной картошки – ее пока ели вдосталь – да по стакану молока – не каждая семья нынче так питалась. В их лесной деревне многие жили вовсе без хлеба, и дедово знахарство нет-нет да и поможет.

Дед любил помочь человеку в недуге. Он собирал травы и завешивал ими чердак. К нему шли, и он делился с каждым, даже обижался, если кто плату предлагал. В войну жить стало труднее, и дед смекнул: хоть знахарством своим надо кормиться.

– Ты, девка, не веришь мне, – говорил дед, облупливая картошку. Девкой он называл бабку, когда остро чуял неверие ее или недоброжелательство. – Я ведь помогаю. Вот к Нюрке нынче заехал...

– Она-то чем занедужила? – перебивала его бабка. – Вон ведь телка какая!

Дед не сразу отвечал, дул на горячую картошку, так и не закусив ею, откладывал в сторону.

– У ей беда пришла.

– Какая беда-то? – всплакивалась бабка.

– Серега в госпитале помер.

– Ох ты господи! У ей ведь трое.

– Нет, девка, четверо. Вот я ей – то и другое – пей, успокой себя. Пей аккуратно, пей неделю-другую. Я ведь знахарь и утешитель. А кто бы сейчас ее утешил? Ни кина, ни клуба. А радио-то не шибко утешает. Все про ее да про ее. Я как бы самовольно командировочный, и вот мои доходы все тут на столе. Ни с кого не требую, шапку на голову – и пошел. «Чем, чем я с тобой расплачусь?» – «А не надо ничем». – «Ну, хоть чаю садись попей». – «От этого не откажусь», – говорю, так, для утешения, говорю. Помогаю, девка, я это себе уяснил. Я от сердца людям помогаю. Это как такой доктор-то называется, который от сердца лечит? Я и травой, и словом, и вот тут. – Дед стучит в грудь. – Тут легче. Я по силе возможности помочь оказываю. А когда ведь не могу, прямо и говорю: «Не могу, доктора зовите». Это тоже помочь, совет-то...

При воспоминании о деде в сердце Миньки разливается доброта. Он протягивает руку и достает до губ Гнедка, неторопливо идущего за саними. Может, и конь вспоминает о своем стареньком хозяине. «Вот так, Гнедко, нет теперь деда-то у нас, – печалился в мыслях Минька. – Ведь я говорил ему: «У тебя, деда, одно лекарство, выпивка. Перестал бы». А он что сказал: «Нельзя, Минька, перестать. Как зашабашу, сразу помру». И когда дед слег и перестал выпивать, Миньке хотелось, чтобы он поднялся вдруг и, ероша волосы и побрякивая, сказал: «Дай, мать, стопочку. Тяпну, и вся хворь пройдет». Но дед все тишел, все похрипывал, а за день до смерти поднялся, обрадовав всех домашних. «К больным съезжу, мать», – сказал он и велел Миньке запрячь Гнедка, велел и ехать с ним. И доехал Минька, куда повелел дед, да только тут же и сани повернул назад: дед, как сидел в передках, согнувшись, так и умер. И бабка как-то сразу изменилась. До того была подвижна и задириста. Деда на спор вызывала. Если тот уклонялся, улыбаясь снисходительно, бабка торжествовала: вот и сдался, вот и сказать нечего, вот и загнала в угол. Дед хохотал от этих слов, и бабка торкала по широкой его спине, и в торканье этом слышалось тайное сознание того, как дед умен и как высок в своей уступчивости. Когда дед был дома, бабка тем и занята бывала, что ворчала на него. Когда же дед был в «гостях», то есть знахарил, бабка принималась хвалить его перед внучатами.

– Полвека грызу его, а он только усмехается. А делает свое, и получается, что по его-то и лучше, а я помеха ему, дуреха неладная. Умница деда-то ваш. Учитесь у него, приглядывайтесь, пока живой.

Постоянно хворающая и охающая бабка работала так, что и молодой не угнаться. Особенно по весне она входила в работу, когда наступало время посадки, поливки, полоть. Тут она вроде молодеца, на щеках появлялся бордовый румянец. Руки ее выхватывали из ручки ведра, полные воды. Ноги, обутые в старые дедовы ичиги, бойко протаптывали дорожки меж гряд. Бойкостью она заражала Миньку с Лидкой, и они, сгибаясь под тяжестью ведер, таскали и таскали воду к огуречным грядкам, поливая ею лунки.

– Кто из вас огурец стоптал? – дознавалась бабка, и детишки переглядывались и хихикали.

– Так было, мама.

– Я вам дам «так было». Будто осторожнее нельзя.

После трудового дня с лица бабки не сходила улыбка удовольствия. Она приносила соты, полные меду, и угощала внучат, подолгу глядела, как они, высасывая мед, жевали мягкие и сладкие вошники.

После смерти деда бабка как-то сдала. Она бросала взгляд за окно и часто бесслезно плакала.

При этих думах Миньке привиделось, что и бабка лежит в дедовом углу и умирает. Он сожмурил глаза, откинул воротник дохи и вздохнул всей грудью. «Нет, мама, поживи еще, – запросил Минька в думах своих бабку. – Года три, ну, два пожила бы еще. Как бы это сделать,

какого лекарства купить?» И Миньку чуть не прохватила слеза, когда он вспомнил, что первой в его памяти зажила бабка. Бабка водит ему по ладони и наговаривает: «Сорока-ворона гостей ворожила, баню топила, воду носила, тут холодна вода, тут горяча вода, тут кипятток, а тут чик-чикаток». И щекотала Миньку бабка, и он вертелся, подпрыгивал и хохотал от теплых пальцев-рогатин, но с коленей не убегал. Потом Лидка лезла к бабке, чтобы та и ее пощекотала, но бабка отталкивала ее, ворча: «Маленькая, что ли, тебя на руках держать», и Лидка начинала плакать, отворачиваясь к стенке.

– На мокром месте у те глаза, Лидка, – ласково ворчала бабка и привлекала к себе девчонку, прижимала к груди и гладила белые волосы. Лидка смеялась сквозь слезы – так нужна была ей ласка. Вот, Лидка, для Миньки ты нынче главная любовь, главная забота, главная печаль его. Жалость тревожная подступала Миньке к сердцу при мысли о Лидке, и виделись ему всегда тоскливые, напуганные и сторожкие ее глаза. Они после слез становились улыбочивы. Робкая улыбка недолго теплилась в них и улетала до новых слез. Как бы Миньке хотелось, чтобы Лидка всегда улыбалась, всегда была весела и беспечальна. Что бы такое в городе ей купить и развеселить ее на неделю или хотя бы на целый день. А купит он ей гарусный платок, такой же, какой был когда-то у матери. Лидка любила надевать его и просила мать оставить, когда та уезжала с отчимом в другое село. Платок этот был Лидке к лицу, шел к ее карим глазам, и бабка, глядя на нее, говорила:

– Личит тебе такой платок. Личит.

Лидка подходила к зеркалу и долго смотрелась в него, то одним, то другим плечом повертывалась. Розовые цветки на платке походили на розовые Лидкины щеки, розовевшие еще больше от неожиданного открытия: как она хороша. Но и у матери платок был единственным украшением, и на просьбу бабки отдать платок девчонке, отговаривалась:

– Это свадебный подарок мамин.

– Вот и передай его дочери.

– Я куплю ей новый, такой же хороший, – обещала мать, но Лидка знала, что купить ей не удастся: она приняла на руки кучу ребятишек.

Вот удалось бы Миньке купить такой платок, вот хватило бы денег. Хватит ли? Таких платков в продаже нынче нет. Его только с рук можно купить или на барахолке, и то случайно. Миньке хотелось разбудить Спиридона и спросить, какая цена такому платку, но тот храпел вовсю, и будить его Минька не решился.

А то, что называлось городом, приближалось и приближалось. Они уже час ехали по столбовой дороге: высокие столбы справа и слева несли на себе сети проводов, которые ныли и нагнетали тоску. Минька оглядывался, но и там все слилось с белым снегом, и деревенька укрылась им. Как это люди живут без лесов и гор, без родников и рек? Нет тут ни заячьих следов, ни медвежьих, только собачьи следы испятнали все закрайки дороги...

Гнедко кивал головой, что-то вспоминая. Мягкими губами он тянулся к Миньке и бил копытами о полозья – просил убрать пристывшие к ноздрям сосульки. Кроша в руке лед, Минька убрал их осторожно, и Гнедко закивал усерднее, словно благодарил. Минька хорошо помнил, с какой поры родилась дружба между ним и конем. Была последняя весна войны, когда дед взял Миньку на весенний сбор орехов.

– Гляди, бабы подались в лес. И чего сидит, чего месит свои травы? Доктор – посконные оборки. Езжай, говорю, – гнала бабка старого в лес.

С привязанными к седлу мешками, пять штук при одной лошади, уходили бабы в сторону сказочного озера, бесстрашные бабы. Деду отсиживаться было неловко и остаться крайность большая – просили его больные приехать то в одно, то в другое село. Дед поразминался, поразминался, позаглядывал в окошко на весеннее солнышко и сказал:

– Собирайся, Минька, и ты.

То был первый случай, когда дед пригласил Миньку в горы.

– Ишь, и пожить там один не хочет. Не отрывай от школы ребенка, не отрывай, говорю, – ворчала бабка.

Но Миньку уж ничто не могло остановить. Дед принес из кладовки старенькие ичижки, наложил на пятки лосиные сыромятины, из сена натеребил овсюга для стелек. До сумерек точили топоры и поклажу немудреную складывали в сумы, а прохладным утром отправились в лес. Ехали сперва полями. Их сменил обремененный коряжистый лес. Потом они, как в какую пропасть, съезжали так глубоко, что Миньке казалось – назад не выбраться. Потом ехали по неровному льду, намороженному зимой от ключей и ручейков, и скоро выехали на ровную синюю гладь.

– Не провалимся, деда? – спросил Минька.

– Вишь, лужи на льду, – сказал дед, – вот уж их не будет, тогда ездить нельзя.

– Это не то великое море?

– Ух, куда хватил! То море, а это утиная купальня.

Потянулась низина, вся в лозняке, боярышнике и черемушнике. Низина помалу переходила в гору, и начинался высокий сумрачный, казалось, бредущий в гору лес.

– Слезу-ка я, паря, – сказал дед, – тут коню обоим не взять.

Снега здесь не было, и дед проваливался в зыбкий мох. Миньке казалось, что и мягко ступающий дед, и Гнедко, от которого так сладко, так по-домашнему пахнет, и сойка, по-сорочьи шныряющая меж кореньев и валежин, и легкий ветерок, и лесные звуки – все рвется к вершине, к той предполагаемой площадке, с которой откроется взору весь мир. Какая-то песня так и озаряла Миньку изнутри, и не было в ней слов, был только зов – подниматься туда, вверх.

– Вот это гора, деда! – радостно воскликнул Минька.

Дед повернулся, поправил лекарскую лосиную сумку и, стащив с головы шапку, открыл потный скатанный серый чуб. В минуту добрую, ласково попрекая за какой-то давнишний грех, бабка теребила деда за этот чуб, заставляя склоняться до ее плеча, и дед виновато хихикал, глаза его молодо сверкали, он подмигивал Миньке. «Вот как нашего брата». Такие веселые глаза Минька увидел у деда тогда, помолодевшие глаза, хоть и дышал он тяжело.

– Крутенькая горка, Миня, – улыбнулся дед, обнажая ровные и целые до одного зубы, шапкой вытирая пот с шеи и лица.

Не дошли они до перевала, а уже потянуло легким дымком, и там, в распадке, явственно почуялось, что дымок тот – вкусный запах печеной картошки, и все вокруг сразу породнело и одомашнилось.

Бабы встретили их радостной насмешкой.

– Вот и мужики явились!

Деда повертывали так и так, оглядывали и смеялись, сумку его веселая баба себе на бок прицепила и напрашивалась подругам познахарить, полечить их недуги. Молодая баба привлекла к себе Миньку, поцеловала, приговаривая:

– Мужичок-то какой сладкий. Такой и у меня растет. Как он там? Как он будет хозяйничать дома?

Третья баба обеспокоилась:

– Куда мы их поместим? Шалаш-то наш тесный.

А молодая баба перебила:

– Мужикам всегда место найдется. Мужик, он ведь сухонький, махонький. Ляжет меж бабок – и не видно, не слышно его.

– Командиру положена отдельная помещения, – сказал дед, – ему надо думать в тиши, бумаги писать и строгости блюсти.

С теми словами и снял дед с себя полушубок – он и весной ходил в нем – и, оставшись в пиджаке, принялся строить шалаш. Минька помогал усердно. Топором-маломерком поотрубал сучья пихты, ими и укрыли они свой крохотный шалаш, не шалаш, а берлогу, и узкий лаз

оставили. Внутренность шалаша толстым слоем веток устлали, ветоши вязанку натолкали, а как Минька опробовал жилье, покатавшись в нем, дед собрал совет.

– Вы, бабоньки, спите не шибко крепко, – советовал дед. – Пробуждайтесь раз и другой. И спя шевелитесь, сугревайте себя, а то простынете. Я той войной тем и спасся от простуд, что спал чутко.

– С тобой, дедонька, мы никак не заболеем. Сумка-то у те вон как полнешенька, – пошутила одна баба, но дед будто и не слышал ее.

– Ишо меняйтесь, как спите, – продолжал он. – Мы с дружками в германскую-то вот так сугревались: часок я в середке, часок товарищ. Одна шинель под боком, другой ноги накрываем, а третьей одеваемся. Ишо спинами друг к другу старайтесь спать. Брюхо, оно хлебное, само согрется, а спину греть надо.

Затем дед дознался, кто и что привез из еды, и учреждал порядок поварства.

– По очереди, по очереди, девоньки. И кто лучше изготовит. Мы с Минькой отсюда выпалам – это нам не по силам. Мы дров заготовлять будем. А насчет орехов – тут учить вас нечему, сами знаете, как собирать.

Так дед на первый час определял себя командиром, на том его начальничание и заканчивалось. Как варилось и что варилось, он не интересовался. От каш, картошки и куска хлеба своего отрывал Миньке лишек, щупал живот, тугой ли, ладно ли парень набрался. Глядел вослед уходящим бабам и подмигивал Миньке:

– Пускай туда идут, а мы с тобой в другой уголок заглянем.

Не лазить весной по деревьям, не бить колотом по стволам – ходи по мягкому моху и собирай в мешок шишки. Как становится мешок тяжёл – иди к шалашу и вывали. Весна в тайге больше живет в вершинах деревьев. Там свет, тепло, ветер. С вершины самого большого кедра хорошо увидеть, как пролетает весна, мельком поглядывая на мхи, на черные колодины, на роднички, которые с каждым часом становятся беспокойнее. Весна приказывает каждой насекомине: ты лезь на дерево, ты тащи соломинку, ты расправь крылья и до вершин поднимись. Беспокойная птиха прыгает на ветках, перепархивает перед самым носом Миньки и кричит: «Тут я, тут я». «Знаю, что тут», – отвечает ей Минька, а птиха уже подальше отлетела и манит и зовет к себе Миньку. «А вот где я, а вот где я». «Перестань! – крикнул ей Минька. – Некогда с тобой, лети к своему гнезду».

Ночью дед стлал лоскут медвежьей шкуры и укладывал на него Миньку, и тот прижимался спиной к груди и животу старика. Сухая ласковая рука оплетала Миньку, подсовывалась под ребрышки и грела – и было тепло, как в гнезде. А не сразу засыпал Минька: перед глазами летали птицы, стаями большими. Одна стая покружилась и отлетела к вершинам, а вот уж и другая прилетела и вьется над Минькиной головой, и каждая птица норовит сказать что-то. Минька засыпал, оглушенный кликом птичьим, а просыпался подхоложенный: деда рядом не было. Этот раз разбудил Миньку певучий незнакомый голос:

– Эй! Кто есть живой?

Минька высунул голову из лаза и увидел седока на маленькой лошаденке. Ноги седок выпростал из стремян, руки устало опустил на луку и улыбался узкими глазами и редкоусым ртом.

– Один?

– Ага, – ответил Минька. Седок руки трубой сделал, напыжился и заорал:

– Э! Э! Шибко корошо! Кончай война! Кончай война!

Первым из лесу вышел дед, и седок метнулся к нему, соскользнув с седла.

– Э! Ефимка! Дохутур! Кончай война Капыту-у-у капыту-у-у...

– Да неужели конец холере? – охнул дед и опустился на пенек.

– Капыту-у-у-ли-ро-ва-ли!

– Как ты узнал, Дьемек? – спрашивал обрадованный дед. А из лесу выскакивали бабы и бросали мешки с шишками.

– Ты о чем орал? Ты где про то слышал? – окружили они алтайца.

– Воздух! Радива! Слышал!

Седок бросил на землю кнут и пошел прыгать вокруг кедра, увешанного котелками. А бабы хлопали руками, суетно бегали подле шалаша, обнимались.

– Правда ли? Ба-бань-ки-и-и!

Алтаец все плясал, перевортывался через голову и приговаривал:

– Пра-вы-да, пра-вы-да!

И Минька не мог удержаться, прискакивал, широко расставив ноги и раскинув руки.

– Деда! Деда! Седлай Гнедка.

Бабы охали и метались по табору, бросали в сумы вещички. Коней оседлали и деда упрасивали:

– Дедонька Ефим. Ты уж останься, покарауль с Минькой орехи-то.

– Ну, дак всем ехать нельзя. Ну, дак чего поделаешь, – отвечал дед, и Минька крикнул отчаянно:

– Деда! – Так ему горько было оставаться тут в праздник.

– Мы и тут, Минька, порадуемся, – говорил дед. – Мы и тут выпьем за победу. Дьемек, привезешь водочки?

– Шетверть привезу, Ефимка.

После, когда баб, как метлой, вымело из лесу и когда дед с Дьемekom ходили по табору, несвязно бормоча песню, Минька забрался на самый высокий кедр, на кроне его угнезвился и оглядывал гигантские волны синего моря тайги. В какой чаще ее затаились Осинки? По ним ходит сейчас отец, ловкий и сильный, и растягивает гармонь. Всяко бывало – зимой бумага придет о смерти, а летом письмо: жив солдат, наврала лихая бумага. Не так ли могло случиться с отцом? По Миньке, конец войны – это шумное возвращение солдат, а их в одних Осинках полста будет. Вернулись, поди, уже, и разливается радость по селу, обнимаются бабы с мужиками, отцы с сыновьями, деды с внуками, и одних только Миньки с дедом там нет. Отец его, Иван Ефимович, поглядывает на тайгу и говорит: «Ах, нет отца, ах, нет сына Миньки».

Минька слез с дерева и затеребил деда:

– Ну вот! Опять жди, когда очухается. Не буду я ждать тебя. Оседлаю Гнедка и уеду, а ты оставайся. А чо! Возьму и уеду!

Не слышал дед, уснул, сморенный радостью и выпивкой, а слышал бы, сказал: «Нельзя, Миня, ехать. Реки сейчас дурят. Погоди дня два, а то утонешь». Оседлал Минька коня, взял сумы с чистым орехом и поехал.

Гнедко торопился домой, выискивая путь, свободный от веток, то и дело набегая на ручей, который тоже торопился к большой воде. А вот и калтусы, которые теперь не узнать – вода щиколотки коню закрыла, скоро и до коленей добралась, и вот уж Минька ноги поджал, а сумы волочатся по воде. А дальше, за островком-взлюбком, кипит поток, заставляя Гнедка всхрапывать и опасно прядать ушами. Минька глаза расширил от страха и надрывно закричал:

– Но, но, Гнедко-о-о-о!

И не спускал Минька глаз с того крутого берега, когда конь вдруг не достал дна копытом и повис на воде. Сумы, как подушки, надулись, всплыли, и их унесло водой, а сам Минька, сброшенный с коня, цепко вплеся руками в гриву, и вода показалась горячей, обожгла. Так его конь вынес на берег. Минька едва выпростал пальцы из гривы.

– А гостинчик-то отцу! Унесло-о-о-о! – едва выговорил Минька и опустил, рыдая, на землю...

Машина, какую Минька видел только на картинке, обогнала их, подпрыгивая кузовом и гремя железом. Гнедко шарахнулся в сторону и отвлек Миньку от воспоминаний. Прогумел слева и унесся вперед газик, клубя за собой снег. Замаячила красная труба, выросшая на горбу серого здания, и Минька затеребил Спиридона:

– Кажись, приехали. Поднимайся.

Спиридон отмахнул воротник, огляделся и выпрыгнул из саней, хлопая рукавицами, приплясывая и побрякивая.

Город был маленький, раскинувшийся в долине речки, со множеством коротких улочек и переулков, которые упирались в косогоры. В центре была гостиница, ресторан, два-три магазина. Самый большой дом был в три этажа, и тот деревянный. Но и такой город Минька видел первый раз. Маленький-то маленький, но все ж таки не деревня, хотя бы потому, что люди все торопятся, ведь надо из конца в конец пробежать километры.

– Мы сперва свои надобности исполним, Миня, а потом уж общественные, – сказал Спиридон.

Базар оказался в центре города и был тоже невелик – три порядка, крытых тесом, два магазинишка по углам. Уставших и подтощавших коней они тут же выпрягли, подвязали к саням, и кони деловито захрумкали.

Товар свой не весь Минька выставил напоказ. В прихваченный мешочек насыпал орехов и стакан наполнил. Густой и засахарившийся мед выставил в чашке, ее хоть и не вешай – ровнехонько килограмм в ней. Ягоды погодил показывать. Спиридон имел товару – два куля картофеля, один куль тут же старушка купила. Спиридон честь по чести положил его на санки и прикрутил веревочкой попонку, деньги затолкал в карман гимнастерки, на ухо шепнул Миньке:

– Ты тут поглядывай в оба. Я на минутку отлучусь.

Вернулся Спиридон с пряниками, сунул их Миньке в карман.

– Пожуй маленько, замори червяка.

Торговать было Миньке в радость. Суетливые женщины наклонялись над прилавком и сверялись о цене меда, затем удивленно ширили глаза, говорили: «Одурели, видно» – и тогда Минька предлагал:

– Дак орехов тогда купите.

Орехи шли бойко. Минька ссыпал мелочишку во внутренний карман пиджака и думал: вот как жизнь шибанула его – за прилавком он стоит наравне со взрослыми. За сто километров с продажей приехал. Люди глядят на него с любопытством и качают головой, одна старушка даже сказала:

– Районо рядом. Как позволяют малышам торговать на базаре?

Минька глядел на всех прямо и говорил громко, чтобы прогнать страх.

– Дорого, мальчик. Уступи, – просили его, и Минька отвечал:

– Мед этот горный, альпийский. – Так дед называл свой мед, таким и Минька продает.

– Какой, какой, мальчик? – переспрашивал любопытный старичок.

– Альпийский, говорю, – отвечал Минька, не моргнув.

– Издалека твой мед, мальчик.

– Цветы у нас вовсе другие, чем тут.

– Мал, а врать ловок. Откуда ты?

– Из Карагача.

– Знаю. Меды ваши отменные, лучшие меды в крае.

То ли слова старичка помогли, то ли меда на базаре больше не было, но к Миньке очередь набежала, просили продавать помалу, чтобы всем хватило. Никогда еще не было такого с Минькой, чтобы люди вниманием его оделяли. А Минька может не торопясь накладывать в чашку и деньги собирать. Спиридон тесаком выковыривает мед и шепчет Миньке:

– Пошло дело! Так мы продадимся за час – и обедать. Тут тихонький ресторанишко есть. Посидим, поважничаем. А там и за дела общественные. Ты куда деньги кладешь?

– В грудной, – шепчет Минька.

– Правильно. Подальше клади, поближе возьмешь. Приеду домой, расскажу, как ты базарничал. Где ты наобык?

– Люди научили.

– Верно, Минька. Орехи кончились?

– Все. Ягоды выставлять надо.

Гремящую мороженую клюкву Минька продавал стаканами, а Спиридон подхваливал:

– Для киселей городских лучшая ягода. Забирайте остаточки. Ночевали в Доме колхозника.

Утром в воскресный день Спиридон и Минька отправились на барахолку.

По Миньке, зря это множество людей и вещей называли барахолкой. Товар на руках и на лотках вычищен, выскоблен, выглажен. Сапоги так и сияют, пальто так и пушятся воротниками, глаза людей посверкивают, так и норовят тебе что-то сказать. Это, если взвесить, все дорогое, все главное стащено сюда, как напоказ. Кончится праздник, и понесут добро по домам, спрячут подальше в ящики.

– Что будешь перво-наперво покупать? – поинтересовался Спиридон.

– Гарусный платок Лидке, – ответил Минька.

– Эко ты задумал.

– Это самое главное, – сказал Минька и посмотрел на Спиридона такими же бойкими глазами, какие были у всех тут.

– Давай тогда в самую толпу, может, и вынесли.

Минька скользит взглядом мимо шуб и дошек, платьев и кофт, мимо шапок и брюк галифастых, в глазах его платок плещется цветастый, большущий, расстелить, так во всю кровать будет, – и манит, и манит Миньку в глубь толкучки. Вдоль и поперек исколесили ее, а нужного платка не нашли и пошли было на выход, Спиридон посоветовал:

– Давай купим ей какую-нибудь шапочку.

Минька замотал головой, недовольный, и пошел с барахолки поперек. Тут и набежала на них женщина с папиросой во рту. На руке ее разметался гарусый платок и кистями алыми едва не касался снега. У Миньки дыхание перехватило, растерялся он на минуту, но выручил Спиридон.

– Почем же, тетка, древность такая? – обратился он к женщине.

Цену товару своему тетка знала, и, как назвала ее, Минька отвернулся, рот раскрыв: сюда бы деньги, вырученные за кули Спиридоновы, и все равно не хватило бы.

– Ну, вы, хозяйшка, заломили цену! – начал торговаться Спиридон, разглядывая платок на свет. Хоть залежен платок, но цел и крепок и ничуть не отцвел. – Товар-то немодный нынче! Кто платок такой теперь носит? Старухи одни, да и то когда их в гроб кладут.

– И-эх-х-х! Де-рев-ня! – дыхнула тетка дымом в лицо Спиридону.

– Говори делом, тетка. Бери любую половину.

Женщина вырвала из рук платок и пошла дальше.

– Тетка! Не упускай покупателей. Задаром отдашь. А ну, вот тебе еще сотня.

Женщина вернулась и бросила платок на руки Спиридона.

– А ну, Михайло Иваныч, раскошеливайся!

Шел Минька в колхозный дом, успокоенный. Ни себе, ни бабке ничего не купил, денег осталось на соль и на спички. Лидка обрадуется, когда Минька платок этот из мешка вынет. И бабка его поймет: ничего не надо ей для жизни, что для смерти было, и то отдала. А Минька будет донашивать немудреную дедову одежду. Лидке надо – чтобы слез ее не видеть. Ей надо, что поделаешь, да и девкой уже становится. Тот раз, когда заявила она, что смерть ее потеряла,

Минька долго приловчался серьезный разговор начать, посадить ее перед собой и, сколько есть ума, убеждать, что жить непременно надо, что все у них впереди, что погоди, как они еще заживут: и дом новый построят, и скота больше будет, и огород расширят до самого болота, – так и не смог, он только дернул тогда Лидку за рукав и сказал тихо: «Давай не плети всякое».

Плохо сказал, шибко мало, но Лидка защиту, что ли, какую в нем почуяла, плакать перестала и вздохнула облегченно. Взглянула на него по-особому, словно только заметила, а брат-то, брат ведь есть, не одна она на свете. Так думал Минька, пока шли они до Дома колхозника. Спиридон думать не мешал, оттого, пожалуй, что особый блеск в глазах Миньки видел, другую походку, осанку ответственную, платок в руке. В колхозном доме Спиридон ласково поглядел на Миньку и спросил:

– Что дальше делать будем, Михайло Иванович?

– Справляй, дядя Спиридон, свои дела живей, и домой двинем, – сказал Минька.

– А детдом? С ним как быть?

– Мне домой надо.

– Не пойдешь, не посмотришь, какой он?

– Незачем

– Я, брат, так и думал. Завтра дело справлю. Послезавтра двинем.

– Завтра бы, – дрогнул голосом Минька.

– Эко торопишься. В кино ходил бы, в музей.

– Проживаться тут.

– Это верно. Город деньги любит. Да и кони сенишко съели. Завтра я с утра все сделаю – и двинем. А завроно скажем, что убег. Скажем так?

В деревню вернулись вечером. И хоть спать клонило и в тепло тянуло, выпряг Минька Гнедка и остыть поставил у столба. Все ждал – вот выйдут бабка с Лидкой, помогут хоть ворота закрыть и оглобли подвязать у саней, но так и не дождался. «Придется выговор дать», – обиделся он и вошел в избу. Бабка лежала на койке и охала.

– Ох, Миня, не встретила тебя, вовсе хворой стала. Встать уж не могу. А та, полыса-то, в клуб напоядилась. А в клубе-то парень чужой, дак, говорят, пристаёт к ней.

– Это какой еще чужой? – устало ворочая языком, спросил Минька и присел на край бабкиной кровати.

– Боюсь я, Миня, выскочит она за него. А рано. Рано-то, как рано! Я, слава богу, семнадцати, а ей-то, ох-хо-хо. Беда это, Минька. Пошел бы ты к Спиридону, да с им и отсоветовали бы. Потерпела бы еще маленько нужду-то. А то от нужды да к горю.

Распоясанный, с мешками в руках, с осунувшимся лицом – веки так и норовят закрыть глаза, – сидел Минька подле бабки и не знал, что предпринять. Кто, кроме него, вяжется в такое дело, кому надо?

– Она ничего не взяла с собой? – спросил Минька и полез в бабкин ящик. Тут ли платье, тут ли исподнее, тут ли косынка летняя. Перерыл бабкины тряпки и не нашел ничего.

Подпоясавшись Минька потуже и, не говоря ни слова, вышел из избы. В клубе пять-шесть парней резались в очко. Столько же девок в другом углу шептались и хохотали и, как Минька вошел, замолчали.

– Тут Лидка не была? – спросил.

– Была, да сплыла, – ответила толстая девка. – Пропас ты сеструху свою. Ее, может, и в деревне уже нет.

– Да тут еще. Собираются, – сказала другая. – Беги к Бекетовым живее.

Минька и дверь клубную не закрыл за собой. С крыльца на сторону соскочил и что было духу понесся в дальний переулок, только снег под ногами хрустел, притаявший за день. За ставней свет горел, и Минька заколотил нетерпеливо.

– Кого надо-то? – слышалось из избы.

– Лидку, Лидку! Откройте.

В избе былолюдно. Скамьи и табуретки заняли соседские бабы и ребятишки, все загадочно и удивленно уставились на Миньку.

– Ох-хо-хо! – досужно поохала баба.

– Где наша Лидка? – спросил Минька.

– Нету Лидки, нету.

– Опоздал, Минька.

– Проездил сестру-то.

– Дите ведь еще.

– А ты, парень, успокойся. Может, это к лучшему, жених-то хоть и староват, а из семьи порядочной.

– Да что он староват? В двадцать-то пять годков?

– Толкуйте дитю, что он теперь сможет?

– Сейчас только уехали, – шепнул ему парнишка-одноклассник.

Миньке почудилось, что дух Лидкин еще живет тут, что следы ее у порога еще горячи. Что лица-то баб не разгладились от улыбок, с которыми проводили они Лидку за ворота.

– Да во что она хоть оделась-то? – не зная, о чем говорить, спросил Минька.

– Все есть на ней. Некорыстно, да собрали. Шубу хозяйскую вернет, как приедет виниться.

– А в какую деревню?! – спросил Минька.

– Да в Курдюмы. Верст сорок будет.

– Ы-ы-ы! – басовито и надрывно рыкнул Минька, и все, кто в передней и на печке были, повысыпали, думая, что Минька реветь будет. – Ы-ы! – нервно затрясся Минька, но слезы не проронил, только побледнел больше, но тут на ум пал ему Спиридон. Спиной Минька торкнул дверь, она чавкнула, пристылая, и скрыла Миньку в сенной темени.

Кто-то сказал:

– Погорюет маленько и забудет. Дите.

Подхваченный попутным ветром, Минька бежал в другой конец села. Ветер трепал полы шубенки, уши шапки хлопали по щекам, ноги каменно отяжелели, когда он забрякал в колечко ворот Спиридона.

– Кто там? – раздался голос Насти.

– Я, тетка! Минька. Дома ли дядя Спиридон?

– Нету его, нету. В сельсовет ушел. Ступай домой.

– Дома он, дома! Конь-то прыскает. Мне шибко надо его. Тетка-а-а!

– Нету, говорю. Ступай. Это наказание одно, а не работа.

Видно, по голосу узнал Миньку Спиридон и вышел на крыльцо, покашлял и высморкался.

– Кто там меня?

– Ну, Минька же!

– А, Михайло. Сейчас.

– Лидка убежала! – сказал Минька, лишь порог переступив.

– Как это убежала? Из дому, что ли, убежала?

– С чужим парнем!

– Это ино дело. Я думал, так куда, от нужды. Ну, да так и так от нужды. Ах ты, невеста без места.

– Догонять надо.

– Миня, а может, так и надо?

– Нет и нет! – отчаянно заревел Минька.

Спиридон покряхтел, походил по избе, пожимая плечами, и пригласил Миньку:

– Ты ведь, Миня, не жевал ничего. Садись, поешь горячей картошки.

– Не хочу, – замотал головой Минька.

– Садись, говорю. Не сядешь – не поеду.

Минька сел за стол, но так рук и не поднял.

– Ехать надо, Настя. Ты не сердись на меня. Такое дело. Мне вот тут прострелила эта новость. Девчонка же! Только что, говоришь, уехали? Догоним и через час дома будем.

Жених с невестой остановились на ночлег в соседнем селе у жениховой тетки. Когда Спиридон и Минька вошли в избу. Лидка сидела за столом в розовой кофте с чужого плеча. В светлые волосы вплетена алая лента, а на руке поблескивало серебряное колечко. Она покраснела вдруг и стала вытираться платочком, пряча в нем лицо.

– Ну, здравствуйте, хозяйева, – сказал Спиридон, стряхивая с себя доху.

– Проходите-ка, садитесь, – сказал хозяин. – А я где-то, мужик, тебя знал.

– Я председатель Осинковского сельсовета, – пояснил Спиридон.

– А! – протянул хозяин. – А я здешний тракторист. Видно, встречались на совещании каком-нибудь.

– А вы-то кто будете, молодой человек? – спросил парня Спиридон.

Парень не снял еще с себя солдатской гимнастерки, очень постиранной и короткой. Свежий подворотничок обтягивал налитую шею.

– А я вот за невестой ездил в ваши края, – кивнул он на Лидку и засмеялся, став сразу проще.

– Ага. За невестой, – потупился в пол Спиридон. – Как, подходяща ли невеста? Зыбка-то есть для нее?

– Велика ли между ними разница, девять лет. Редко ли это? – сказал хозяин. – Поживут пять лет и сравняются.

– Ага. Значит, сравняются, – расхохотался Спиридон. – До цвету, брат, срываешь. А! Зелень несозрелую косишь.

– Понравилась, – широко улыбнулся парень в ответ.

– А я вот властью разом покончу с этим. Ей два года до совершеннолетия. Ты думал об этом?

– Ну, как, мы думали об этом? – весело обратился парень к Лидке.

Лидка голову опустила ниже, мельком глянув на парня и насупившись, что означало: все решено без вас и не мешайте нам.

– Чего ты сама-то скажешь? Да что тут спрашивать. Ясное дело, обманул, калачиком поманил дурочку. Давай вылезай из-за стола и одевайся. Потом скажешь спасибо.

Все это Спиридон проговорил решительно и приказно и даже пальтишко Лидкино схватил с гвоздя и бросил ей на колени, даже за руку ее, как ребенка, взял и поволок из-за стола, но Лидка вырвалась и уселась на прежнее место, рукой перечеркнув сторону, где были Осинки.

– Нету мне дороги туда, дядя Спиридон. Кому я там нужна? Ну, кому? Миньке одному, так он и сам от горшка два вершка. И не удерживайте меня, не удерживайте! Вишь, отец нашелся.

Лидка губами зашевелила, как бывало с ней перед слезами, но гнев ее оказался сильнее. Она не могла найти места рукам своим: то клала их на стол, то на груди сплетала их, желая казаться взрослой и самостоятельной.

– Ты понимаешь, что ты делаешь? – грозил пальцем, кричал Спиридон.

– Не учи, понимаю, – отвечала Лидка.

– Что ты понимаешь?

– От смерти ухажу. Спасителя своего нашла. Опору надежную.

– Ты чьи слова-то говоришь? Ты бабьи слова говоришь. Так они тебя провожали?

– Нянькой буду, стряпкой буду, все буду делать. Не молчи же! Дима! – с отчаянностью она обратилась к жениху, и тот поднялся из-за стола, одергивая гимнастерку.

– Выйдем, прохланемся, председатель, – сказал он.

– Не-е-т, – протянул Спиридон, – ты здесь объяснись. Или у те в своей деревне нет подходящей девки? Или брак какой у те? Объяснись, изволь.

– Да нет. Без брака, – ответил парень, – а поговорить можно и тут. Говоришь, молода шибко, жертва, значит. Ну и понимай, и я так понимаю. А что из нашего понимания? После войны всюду жертвы, куда ни ткнись. Я вот тоже жертва – вдовый остался. Померла и дитю оставила. Она сказала, в няньки идет. И нянькой будет, и женой, и коровницей. И я ей обо всем этом рассказал, не запрятал. Ну и по сердцу пришлась мне за глаза ее тоскливые, за тревогу в них... И сказал ей: никогда не обижу. Никогда! Знаю, что боится меня. Я вон какой рыжий. Я как подсел в клубе к ней, она аж в стенку вцепилась. Я спрашиваю, как тебя звать, она и сказать не может. Я говорю: Лидкой тебя звать. Я же ведь спросил уже, я же позавчера еще глаза твои заметил, я говорю, замуж тебя хочу взять. Пойдешь ли, говорю, на ребенка, на хозяйство? И тут она от стены отлепилась и выпалила: пойду! Да ты меня, Лидка, не знаешь, говорю, да и за сорок верст отсюда. Пойду, говорит, хоть за двести. Ты говоришь, своих девок у нас полно. А я и жениться не собирался, хоть и дите. Мать у меня есть. Ходил бы по разным, шлялся. А вот увидел горе, горе на горе набрело. А может, из их счастье слепим. Я не связал ее, не украл. Правда, бабке не сказались, парню вот этому. Ну, она сама этого желала. Говорит, чтоб разом со старым покончить.

– Да сама же, сама же я! – воскликнула Лидка, прижав руки к груди.

– Ну вот, а теперь одевай ее, где пальтишка-то? Одевай, председатель.

Слово о вдовстве сократило Спиридонову напористость, он пристальней заприглядывался к жениху: парень, как многие, не из бравых, не глуп, видать, и воевал неплохо, по медалям – до Берлина дошел. Спиридон смутился, завертел в руках самокрутку и спросил невпопад:

– У те – девка или парень?

– Мужик трех лет.

– Парнишка – это хорошо. Парнишки с неродными матками лучше девчонок живут, – заметил Спиридон и почесал затылок. – А ты как, регистрироваться намерен?

– А как же, – ответил парень. – Только ведь не запишут пока.

– Ты обязательно распишись, как время придет, – сказал хозяин дома, и хозяйка добавила:

– Без этого нельзя никак. Не пойдет без того, Димка, вроде на обман будет походить. Как-нибудь через знакомство, заплати тому человеку, не поскупись, согласится и годишек-то ей набросит.

– Ну дак как же, Миня, твое-то мнение? Чего же мы брата не спросим? – обратился к Миньке Спиридон.

И все в доме, забывшие было о парнишке, поглядели на него, сидящего у порога на табурете. Он засмутился, но забота не покидала его за все время разговора, он тревожно думал о том же, о чем думали и говорили взрослые. Он поднялся, как поднимаются из-за парты школьники, и махнул рукой, болезненно улынувшись.

– Не поедет она назад, знаю ее, – заговорил он. – А ты, Лидка, все-таки подумай. Ты сперва распишись. Вот.

– Дак о чем мы и толкуем, – сказал Спиридон.

– Ты, дядя Спиридон, председатель. Ты бы и расписал их. Распиши их, а, распиши, – умоляюще обратился Минька к Спиридону. Даже руку протянул к нему.

– Я! – положил себе на грудь руки Спиридон. – А ведь это, пожалуй, идея. Ну и голова же у тебя, Миня! А приезжайте-ка через день-другой в Осинки. А я уж грех этот на себя возьму.

– Ну вот как хорошо, вот как ладненько получилось, – обрадовался хозяин дома. – Давай-ка, председатель, садись в передний угол. Мать, неси холодненькой с улицы. А ты, сват, сватом ведь теперь можно тебя назвать, ты, Миня, вот сюда садись, рядом с сестрой. Посидите-ка,

нечасто теперь придется сидеть за одним столом. Экой ты, брат, парень смышленный. Задал ты своему председателю задачу.

– Ты его, хозяин, не Миней зови, ты его Михайлом Ивановичем, – сказал Спиридон. – Этого обучила беда, далеко пойдет. Этого только отпускать никуда не надо. Этот нам такого хлеба наробит. Вот ведь что я пророчу тебе. А пока и тебя, Миня, годочка на два состарю, и поедешь ты боронягой нынешней весной. Ведь ездил маленький-то?

– Ездил, – ответил Минька с достоинством.

– Значит, легче тебе прожить. А индивидуальность – то пока. Не пойдет теперь это дело, как ни нажимай. Поиграли вроде с хомутом этим, поросли, подумкали – хватит. А давай-ка за все твое хорошее и за твое, Лидка, выпьем. Тебе, Миня, разрешаю, сеструху ведь выдаешь замуж, ну, хоть с наперсток.

Все чокнулись с Минькой, как со взрослым, а с Лидкой он сам чокнулся особо, постоял еще немного и вдруг неожиданно поцеловал в щеку. Задохнулся Минька от малого глотка. А Спиридон мягкий ломоток ему сует:

– Дыши!

Упился Минька ароматом хлеба, слезы с глаз вытер, чтобы никто не увидел, и закусил горячим пельменем из Лидкиной тарелки. Так они и ели из одной посуды, как ели всегда дома, ели, на последнюю минуту соединенные. Ели, обожженные непривычным вином и забывшие всех вокруг, хотели сказать друг другу что-то и не находили слов, заедавая неловкость горячей пищей. Вокруг смеялись, разговаривали – они ничего не слышали. Волосы склоненных голов спутались, рождая ласку и доброту. Минька вдруг поднялся из-за стола и радостно воскликнул:

– Черт побери! Чуть не забыл! Он надернул на себя шапку и выскочил на улицу.

– Коня пошел поглядеть. Хозяин! – проводил его добрым взглядом Спиридон.

Минька вошел в избу с мешком. Со дна его достал платок, развернул, всплеснул им так, что углом одним платок на кровать лег, а другими разметнулся летним лугом по полу.

– Вот, Лидка. Бери, – сказал он, а Спиридон руками замахал:

– Получай, Лидка, Минькин подарок! Ради него брат сто верст отмахал. У! Красотища-то какая!

– Гарусный! – воскликнула хозяйка. – Таких теперь днем с огнем не найдешь. А новешенек-то!

– Неношенный, – сказал хозяин.

Жених взметнул платок к самому потолку так, что ветерок по избе прошел, и набросил его на плечи Лидке.

– Идет-то как тебе, Лидуха! Это, Минька, ты здорово сообразил. Это на долгую память. Так, что ли, Миня?

– Это чтобы жили вы дружно, – сказал Минька и поглядел внимательно на парня. – И чтобы жалел ты ее.

Когда распахнулись ворота и Минька со Спиридоном выехали на улицу, проводить их вышли все и пожелали доброго пути. Лидка стояла поперед всех и плакала навзрыд. А Минька вскакивал на санях и, пока не свернули в переулок, кричал одно и то же:

– До свиданья, Лидка! До свиданья, Лидка!

Как по синему морю...

Рассказ

По случаю гостей из теплушки в дом пригласили бабушку Лушу. А так, неделю и две, никто из домашних: ни сын, ни внук Сергей, ни невестка – к ней не заглядывали. Она сама ходила в магазин за продуктами, сама готовила себе на плитке обед, ходила к колонке за водой – имелось все немудрое хозяйство для самостоятельной жизни. Дом она отписала сыну и перешла жить в теплушку, где едва разместились кровать, столик и кирпичная плита. Хоть в тесноте, да в стороне от суеты. Суета приходила нечасто, когда студент-внук являлся с друзьями, брякал воротами и на минуту задерживался на дворе, а из дому не так слышно было, что там у них. Да мешал иногда сын, приходивший домой пьяный. Мало выпивший, он шел прямо в дом и ругался с женой своей Веркой, и тогда доносилось до старухи бубуканье голосов. Средне пьяный сын шел ко псу Диму и с ним разговаривал, играл, садясь подле. Пьяный хорошо он шел к матери, и этот час был для бабушки Луши трудный. Сын у нее был один. Есть дочери, да живут далеко, а бабушке далеко от родного края уезжать не хочется. Пьяный сын вспоминал одно дурное в жизни, и оно исходило от бабушки. Она была виновата и в том, что сын не кончил семи классов и что женился неудачно, и что внука бабушка избаловала, и что дом ест грибок, а она как барыня живет в своей келье и в ус не дует. Сидел и попрекал мать и потом ни с того ни с сего лез целоваться, и бабушка, обиженная разговорами, отмахивалась и плакала. И сын уходил расквашенный, расплаканный – неудачливый сын, единственный, испорченный прежде ненужной негой. Бабушка же плакала больше затем, чтобы сын поскорее ушел, потому что теперь видеть его ей было не надо: все одно и то же, все попреки, ничего нового не приносил ей сын в жизни.

Пугали ее сыновьи глаза, косоватые слегка, в пьяне синие зрачки сбивались к переносью, и казалось, что он смотрел не на мать, а пытался заглянуть в себя. За такие сыновьи глаза она много переживала раньше, теперь она их боялась, и только. И другие печали забылись, а сохранились одни добрые воспоминания. Жили воспоминания в виде теплых, ровно катящихся волн, и каждая волна – чей-нибудь голос, чья-нибудь песня. Если бабушка углубится, она найдет, чей голос, чья песня. Поют, разговаривают с ней волны, накатываясь одна на другую. Не бывала у моря, жила у реки, а волны, длинные, пологие, тихие волны и цвет их серебряный. То ли бабушка сама изобрела эти волны, то ли что ей подсказало – ране их не было и не думала так никогда. В досужее пенсионное время появились они. Появились, может, от мысли, что правильно, хорошо жила. Осталась она вдовой с тремя детишками вовсе молодой. Испугалась, что в деревне не прожить, надо в город на зарплату перебираться, и переехала она и нанялась сторожихой в школу и так смолodu до старости пробыла в сторожихах, нажила стаж и пошла на пенсию. А дом перевезла из деревни на сбережения, отрывая от каждой зарплаты по пятерке. Вот такая дальнoзоркая, такая упрямая была: хоть пусто в брюхе, а копейку откладывала. Перевезла дом и обставила кое-как по-деревенски, и теперь эта обстановка – кровать да стул со столом – у нее в теплушке, а комод разбили на дрова, диван пылится на чердаке, а в сыновьем доме теперь все по-новому. Чего только ни наташили в дом, ставить некуда, а самая последняя покупка – магнитофон, особо умная вещь, которая может записать твой разговор навечно.

Вот гости эти и пришли по случаю покупки музыки, как приходили они по случаю приобретения трельяжа, холодильника и дорогих мягких кроватей.

Бабушка надела длинное крепдешинное платье, дорогое, шитое еще в крепкие годы за большие деньги, доброе еще, потому что береженое. А поверх платья вязаную кофту, и вот она за столом, рядом с дядькой, кумом сына, а звать как, не знает. Он тут для всех кум, потому что бывает аккуратно на всех гостях, и к нему привыкли. На другом конце стола внук Сережка и

его приятели. Они оборачиваются назад и тянут руки к стонущему, охающему магнитофону. Бабка музыки не понимает, но улыбается, как привыкла улыбаться гостям и вещам сына. Она ласково оглядывает всех, желая, чтобы и ее заметили. На кухне топает пятками невестка, гремит посудой, не дожидается конца своих приготовлений. Эти минуты для бабки самые неприятные, потому что не знает, сидеть ли за столом, идти ли помогать невестке. Потом уж, когда невестка выпьет стограммовку и подышит на ломоть, тогда и ей улыбнется бабка, потому что от вина невестка становилась доброй и начинала бабку называть мамой.

– Вот и все, – сказала хозяйка сердито, последний раз обозревая стол и вытирая о фартук руки. – Иван, разливай. Да не красное, не пойло это! – кричала невестка и пыталась расправить брови, расширить глаза, улыбнуться, но улыбка отлетала. Она про себя знала все и торопилась выпить.

– Ну, за что? За магнитофон, значит? Махонький какой, холера, а деньжищи-то!

Гости выпили. раз-другой ткнули в тарелки и повернулись в угол, оглядывая блестящее дорогое удовольствие. Угрюмый кум стал вдруг вертучим, беспокойным. Возбужденные глаза его бегали по предметам и лицам, и он громко и значительно обратился к внуку.

– Ну, перво-наперво, скажи, сколь стоит она?

– Кто «она»? – насмешливо спросил того внук.

– Эта штука. И что она значит?

Студенты засмеялись, дивясь неосведомленности человека.

– Эта штука все может, – ответил внук, обшаривая взглядом засаленный галстук кума, а тот, развалясь на стуле, задорил:

– Ну что? Ну что? Ну, вот ракета. Она в космос летит, кружит там. Она, так сказать, науку изучает, собак там, пташек проверяет. Тучи где, будет дождь или нет. Так? Так! – ставил кулаком по столешнице точку своим размышлениям кум. – А эта куда полетит?

Студенты ухмылялись, поджидали, что еще скажет кум.

– Продолжайте, продолжайте, – незаметно для кума подмигивал внук товарищам.

– Да что говорить о ней! Балалайка! Напрасная трата денег!

Бабка поморгала, крутила головой, следя за речью и не понимая тоже, зачем этот ящик. Куда бы полезнее насос для огорода, все ведрами черпают из колодца да растаскивают по грядкам, как делалось в старину.

– Без водки тут не разберешься, – сказал хозяин дома и налил по другой рюмке. – Это черт-те что напридумывал человек.

– Ну, кум, слушай, – попросил внук, – слушай, что может эта машина. – Внук щелкнул клапанами, и магнитофон, пошуршав, заговорил, завозмущался, четко и ясно выговаривая: «Балалайка! Напрасная трата денег!»

Кум наигранно удивился: как ловко собезьянничала машина, выпучил глаза, погрозил в угол пальцем.

– Черт подери! Никогда со стороны не слышал себя. Вон как я говорю! Безобразно говорю. Ругательно. Нехорошо, – мотал кум головой, – давай-ка другой раз. Экой я со стороны-то.

За столом смеялись, глядя на потешно озадаченного кума, на игриво уставленные в стол глаза его. Одна бабка не понимала, над чем смеялись молодые, за что просмеяли человека.

– Вы что же над ним, ребята? – спросила она.

– Не поняла ты, бабка, не поняла, – обескураженно качал головой кум, все удивляясь своему отчужденному голосу. – Машина надсмеялась надо мной, бабка. Вот послушай.

Еще раз магнитофон передал шумную речь кума, а бабка глядела в немые уста его и только тут догадалась.

– Да ведь это он по-твоему говорит. Это он уворовал у те голос-то.

Перед третьей рюмкой попросили сказать хозяйку.

– Ну-ка, заверни, мать, тост, скажи слово за эту штуку, – попросил муж. – Скажи, мол, зряшная трата денег. А лучше бы палас купить. Без паласа никуда. Пыль в избе копиться нечем. Ага?

– На палас я с тебя сдеру. Этот раз до копейки выкладывай. Помидоры, огурцы – на рынок. Вот тебе и палас.

– Этот раз на палас, а в другой раз на баркас, – сочинил внук, и мать расфыркалась:

– Не подфигуривай! Молод еще подфигурировать! Ты ведь от своей стипендии ни копейки.

– От стипендии ни копейки, – срифмовал внук.

– Где бы взять на это, если бы не отец да мать, а ты подфигурировать.

– У бабки бы подзаял.

Магнитофон повторил громкий бранчливый диалог, который оборвался занозистыми словами: «У бабки бы подзаял», и бабка расхохоталась:

– Займи-ка, внучок, займи-ка.

Затем один студент пел, а другой теребил все одну басовую струну гитары – и это повторил магнитофон, и теперь все обратились к бабке.

– Теперь твоя очередь пришла, бабка, – сказал кум. – Скажи что-нибудь про старинку. Ну, как колхозница.

– До колхозов уехала, – ответила бабка.

– Ну, как замуж выходила.

Бабка зарумянилась вдруг, испугавшись приглашения говорить для магнитофона, отмахнулась, кося смущенный взгляд на кума.

– На потеху-то говорить? – сказала она и, боясь, что и эти малые слова ее уворовала неладная машина, закрыла ладонью рот и поднялась. В такую пору гулянки она поднималась всегда и уходила к себе. Сидеть дальше ей было неинтересно, потому что самые умные слова говорились с первой рюмки. Тихонько она ушла на кухню, а там за дверь. Сквозь единственное, всегда закрытое окно доносились голоса, подвывание магнитофона, утробное буканье гитары, все то, что мало коснулось ее в жизни.

Помаленьку она отдалась волнам своим. Она плыла по волне тихой памяти своей о самой радостной поре – девичестве. Не обо всем девичестве, его разом на волну не поднимешь. Один кусочек ей накатывался и накатывался, как ехали они с поденщины. Ехали на трех парах. В сумраке вечера, в замирании дневного зноя, ехали они бойко, свесив ноги с телег, подбрасываемые на выбоинах, и пели. Она бы в подробностях воскресила этот миг жизни: с кем сидела рядом, какие шлеи, дуги, гривы бились на конях, как росные травы касались ее ног, какой голос слышался с передней и задней пары и с другого боку телеги, какие перелески, распадки, залежи и жнивы проносились мимо. Она уже не раз перебирала в памяти все это, и теперь случай поднимался нерасчлененным, единым и плавал в душе доброй, милой ласковостью, песней, и она плыла, качалась на ее волне.

Это сколько же ей тогда было? Зимой на восемнадцатом вышла замуж, значит, было семнадцать – вон сколько, – и бабка улыбнулась тому, что ей было когда-то семнадцать, как внуку ее Сережке теперь, и она была молода, красива, звонкоголоса и любима и что все бугорки и перелески означались своим волнением. Она могла плакать, горячиться, смеяться и не навое все это нынче умерло в ней, а обратилось в отлогие, тихие волны, и они несли ее по слабеющей, но еще не отлетевшей памяти. Одна память жила крепче в ней – память песенная. Когда она душой поднималась на плоскую вершину волны, тут и выносилась песня одной случайно выплеснутой строкой, одним извивом голоса. «Соловей кукушку уговаривал», – пелось в ее душе, а другая волна подносила «Во субботу, день ненастный», третья – «На заре было, на зореньке». Иногда бабке становилось совестно: в такие годы и песни на уме. О другом, трудно-печальном, конечном следует думать старому человеку, а ей песни в голову заползают, волнение прежнее приносят.

Бухала за окном гитарная струна, визжала пьяная невестка, ревели мужские голоса и на миг омрачали бабку – она закрывала глаза, натягивала на уши платок и отгоняла нерадостные звуки. В эту пору хотелось поднять на волну что-то сильное, и оно пришло. То была грустная песня, то была печальная песня об утопленнице, и принесла она память о сватовстве, о свадьбе, о счастливом миге ее жизни. Бабка облокотилась о стол и закачала головой, как, должно быть, качала ею, едуци на телеге, и молча запела песню.

Как по синему морю да океану
Качает да девицу волной,
Да как никто ее не пожалеет,
Да никому ее не жаль.

Эту песню они и пели с Груней Грачевой, подружкой, где она теперь? Живая ли еще, умерла ли? Сидели они тогда рядышком, голова к голове, плечо к плечу, тряслись на телеге. От тряской дороги голоса, рвались, а они пели и пели.

Сударушка моя Груня, мила, —

пела бабка, а та вместо «Груни» пела «Луша», и было сладко, страшно и тревожно, и они не чуяли ни тряской дороги, ни песен с других телег, ни парней, будущих мужей своих, которые сидели по другую сторону телеги и тоже пели свои парняцкие песни. Радостное чувство поднималось оттого, что сжато поле и плыла мимо вечерняя прохлада, что хорошо складывается любовь вот уже другой год и что она не замужем только потому, что сама «манежит», куражится, сама откладывает, мучает парня; и оттого еще, что пахло вокруг солнцем, свежим жнивьем и отзревающими травами. Хорошее с этой песней пришло настроение, как оно часто приходило к ней в эти дни отдохновения, когда пять лет назад, получив пенсию, она зажила без торопливости. А до того шли долгие годы без роздыха, все было надо и надо и никуда не спрятаться от забот, а тут вдруг свобода на старости лет, на тебе, передохни и оглянись, и бабка отлетала в прошлое, и, слава богу, приходило оно к ней счастливое, а все горькое: война, смерть детей, голодовки – замерло и молчало. Лежа в одиночестве на железной кровати, она пугалась иногда, а ну как поотлетит от нее память о добром, забудет она песни, а приходит будет плохое, как тогда доживать? Вот уж и из этой песни она забыла строчки. «Сударыня моя Груня», а что дальше? Бабка легла, закинув руки за голову, и мучила память, просила отдать слова песни. Они то прилетали, то отлетали, словно играли с бабкой. Хоть слово бы одно пришло, она бы и уцепилась, а там и другое слово открыла. «Да придите же», – просила она память, и слово пришло. Уехал же ведь он, отлюбил и уехал – обрадовалась бабка и запела:

Улестил ее словами,
Да сам уехал далеко.

Так слово за словом она вспомнила всю песню и тотчас вспомнила, где закончили они с Груней песню на той поденщине. Они ее закончили против Морозовых заимок и тогда еще, тогда, когда пронесся вдруг из пади густой запах конопляника, и родилось отчаяние, знобкая тоска, накатывающаяся темень разлилась над полями, и они, девчонки, прижались друг к другу. Ей бы сейчас подняться, достать из столика карандаш и записать слова песни, тогда бы в другой раз не мучиться, не искать в туготе памяти слов, а взглянуть в тетрадку, вот она, песня, – пой. Она подумала и опять засовестилась – стара, ни к чему это, да и сладость в самом воспоминании. Вишь, как она этот час хорошо пожила. «Как по синему морю-океану», – провздыхала бабка, охватываясь печалью песни.

А за окном ее, из распахнутого окна сыновьего дома вырывалось топанье по деревянному звонкому полу, уханье пляшущих.

– Их-их-их! – визжала невестка, веселая только в пьяном виде.

Бабка убирала из головы посторонние звуки и несла свою задушевную строку:

Как по синему морю да...

А ведь вот дальше-то и забылось. Как же дальше-то? Бабке стало страшно: а вдруг она вспомнила песню последний раз, вдруг эта, как и другие песни, уйдет от нее? Бабка уставила глаза в невидимый потолок, в темноту, полную бисерного мерцания волн. «Господи! – охнула она. – Господи, прости», – шутя и улыбаясь в душе, сказала она и поднялась с кровати. «Как по синему морю-океану», – билось у нее на сердце, когда она, накинув платок на плечи, как делала еще в деревне на праздниках, пошла в сыновью избу.

Ее, стоящую у притолоки, сперва и не заметили. Кум бил каблуками в пол, словно затаптывал гадюку, подняв руки к потолку, пыхтел и отдувался, скаля желтые прокуренные зубы. Он же первый и увидел бабку.

– А! Бабуся пришла! – прокричал он. – Давай, бабуся, за стол, давай выпей портвейна. – И взял за руку ее, усадил за стол и вина в рюмку налил. Бабка от вина отмахнулась.

– А чего надо, бабуся? – грубовато спросил кум, но бабка его уж не слушала, а качала головой и шевелила губами, и тогда внук крикнул:

– Тихо! Моя бабуля в ударе. Моя бабуля петь желает!

На минуту стало тихо, невестка ушла на кухню греметь посудой, сын утомленно сидел за столом, свесив голову на грудь. Не выдержав тишины, кум заорал:

– Бабуся! Ну, сколь ждать!

– Я не так петь буду, – сказала тихо бабка. – Я на память хочу петь. Чтобы себе не забыть и вам помнить.

– На пленку? Ура! Фольклором займемся! – прокричал внук.

Бабка покивала и откашлялась, поправила платок на плечах, не замечая или не желая замечать, как перемигнулись студенты, как в сторону похихикал сын и глянул на бабку косо-глазо.

– Тшшшш! – прошипел внук, и когда наступила тишина, дирижерским жестом велел бабке начинать. Бабка закачалась медленно и плавно, глотнула глубоко, смочила губу о губу и запела, прикрыв глаза:

Как по синему морю-океану...

Что певучей бабка была в молодости, слышно было по звонкому началу. Но, поизмерив силы, она убавила голосу и вошла в ровное пение. Кум зашевелил губами, замахал руками согласно песне. Внуковы дружки уперли руки в подбородки и оглядывали бабкины лицо, руки, одежду, а она уронила темные руки на колени, поправив цветной платок на плечах, и закачалась шибче прежнего. Качали ее невидимые волны и уносили в молодость, и телега, и легкие шлеи, и крутые холки коней виделись ей, и настигала и отставали в ночи злые августовские комары, первые росы брызгали с трав на чирки, на вязанные шерстяные чулки, и все это была – песня. Бабка останавливалась для передыха и омачивала губы, проглатывая слюну, и пела дальше. Кончила бабка петь и обвела всех взглядом благодарности.

– Вот это, бабка, да! – воскликнул кум и поцарапал затылок.

– Это не наше трень-брень, – сказал один студент.

– Это сама история, – сказал внук, улыбаясь. – Сейчас я, бабуля, перемотаю, и мы послушаем.

– А послушаю, послушаю, – покивала бабка стеснительно. – Мне охота услышать, что я там навывала.

Бабка изготовилась слушать, подперши подбородок рукой, всем слухом и вниманием ушедши в угол, где стоял магнитофон. Сперва тихо зашелестели колесики, и вот ей послышался свой голос, отъятый от нее самой, хлябкий и сиплый, но и не потерявший вовсе бойкой прелести девической поры. Бабка улыбалась и вздрагивала губами, отмечая для себя, что спе-

лось все же хорошо, воскрешая из прошлого заветное. Вон какие годы нагреблись, а вдруг и вознеслись откуда-то, и подружка Груня и родной Игнатьич и частушки вспомнились, какие она сама складывала про него и его же, забавляясь, совлекала спеть. И голос Игнатьича послышался, глуховатый, улыбчивый и сердечный на загляденье.

Но пробивалось и проскальзывало нечто новое не от той жизни, в настроении бабки. Прибавок этот усиливался и порождал испуг и печаль. Голос ее повторялся в аппарате и становился как бы чужим, холодным и переставал волновать. Не бывало такого с бабушкой, чтобы песня ее не волновала.

– Ну что, бабушка, приуныла? – спросил ее кум, как песня кончилась.

– Ну, бабуля, подарок твой отличный, – сказал внук. – Наши трень-брень от твоей песни спрятались под кровать.

– Ты, черт возьми, ведь тысячу раз слышал про это синее море, а тут... Давайте еще раз прокрутим, – предложил сын.

Но бабушка, словно испугалась этих слов, поднялась со скамьи и, ничего не сказав, ушла к себе.

Она долго не могла уснуть и, заложив руки под голову, глядела в невидимый потолок. В таком-то виде к ней всегда и приходила песня, и всегда молодая начинала зыбаться над ней, радостная и успокоительная отлетала на миг и прилетала еще моложе и обливала сердце теплотой слов и звуков. Она позвала к себе любимую песню и закрыла глаза, надежно зная, что вот сейчас она польется и принесет неповторимую новую радость. И песня прилетала, но, к бабушкиному удивлению, послышался старческий хлябкий голос, точь-в-точь тот, какой она только что слышала из магнитофона. Она привыкла слышать свой молодой прежний голос, который и приносил воспоминания. Эта же песня порождала досаду, и Груша и Игнатьич, хоть и пришли, но печальные и безрадостные, а более всего песня уводила ее к колодцу и огороду, к нескладной жизни сына, к тяжелым коврам и кроватям. Ей виделась своя пыльная улица и сама она, волочащаяся по ней с тяжело набитой «авоськой». Хоть сама песня была печальная, не эта печаль волновала бабушку. Ее беспокоило то, что песню поймала машина и сделала ее пленницей. То, что, по ее мысли, поймать, ловить нельзя, как нельзя поймать солнце, ветер, тучу, оказалось в клетке. Летела, менялась песня, порхала вольным мотылем, принося все новые радости. Теперь хоть сто раз прослушай ее, все одно и то же: радость, однажды принесенная, гаснет. Вечно юная, как юны все бабушкины воспоминания, песня скоро состарится и умрет. И теперь родилась в бабушкиной голове забота, как бы эту песню вернуть к молодости. Она брала памятью другую, третью песню, но оттого, видно, что первая из них пострадала, и они радости не принесли, и бабушка опять подбрела к первой и силилась влить в нее молодую прежнюю полевую радость и оттого, что не могла, заплакала.

А гуляющие уже вывалили во двор. Кум всюду хлопал руками, бил в сухую землю сапогами, совлекая плясать остальных. Пыль, взбитая дружной пляской, проникала в бабушкину келейку и терпко застила рот и нос.

– Бабуля! Айда с нами плясать! – кричал в бабушкино окошко внук, и бабушка, в уме отмахнувшись, закрылась одеялом и ждала тишины, но тишина не приходила, а был вынесен на волю магнитофон, и начались лихие и однообразные песни про любовь, которые пришлось и для пляски. Хрипы и завывания прошибали одеяло и словно вколачивала гвозди в бабушкину голову, вот так и ее песню закрутят, подумала она, и плясать станут под нее. Так оно и получилось. Скоро кум закричал:

– Заводи бабушкину песню!

Бабушка испугалась и прикрыла уши ладошками, но шепотливые звуки песни и топанье ног достигали ее слуха. Слышался дружный раскатистый хохот, и громче всех хохотала невестка. «Вот так и будете вспоминать меня», – подумала бабушка и, как подружку верную, пожалела песню. Никуда ей не уйти, не убежать, не замолчать, обидевшись. Будет она петь и петь, хоть

никто ее не станет слушать. Будет песня биться и стонать в напрасном усилии, утомленная, измученная и надоевшая, не прибавившая себе ни единого звука, ни единого страдания.

Когда домашние утром ушли на работу, бабка вошла в дом и остановилась перед ненавистным черным аппаратом, опасно разглядывая его.

Затопила печку и, пока огонь разгорался, неторопливо ковырялась в магнитофоне. Ей удалось снять колесики с лентой. Заодно она отыскала коробку с другими лентами и все это бросила в огонь. Затем вернулась в теплушку, привычно положила руки под голову и позвала песню.

1979 г.

Сашкина гармонь

Рассказ

Всю зиму старшие братья возили на станцию солому для солдатских матрацев. Весной послали деньги в Тулу, но их вернули: не успевала Тула делать гармони для страны – такая потребность открылась на них. Тогда и поклонился отец городскому мастеру Киселеву.

- Сделай, браток, поскорее.
- Я их пять штук в год делаю. Заказов много. Два года ждать будешь?
- Нет, два года ждать не стану. Два месяца.
- Тогда и цена ей будет двойная.
- Это сколько же, коли двойная-то?

Киселев назвал цену. Потом уж поняли – мастер двойную цену не взял, полуторная получилась, но сделал в срок заказанный. Это что была за гармонь! На одном конце села играет брат, на другом у девок ноги подкашиваются. Гошка играл старательно. Хорошо разучил плясок пять, и любовь обрел у деревни. Но вот пришел раз к нам паренек, крепыш, широкий в плечах, молчаливый и не улыбочивый, с каким-то напряженным лицом и, выманив брата на улицу, заявил:

- Продай гармонь.
- Как это продай! Я только летичко и поиграл на ней. Да ты ведь и играть не умеешь.
- Не умею – это да, а продай. Она, Гошка, измучила меня. Сна лишила. Что за голоса, что за строй такой у ей! Двойную цену дам.

- И будет она лежать у те в ящике.
- Там видно будет, а я тебя прошу. И не отступлюсь.
- Отец наш что-то скумекал, прислушавшись к разговору.
- Продадим, Гошка, если двойную. А к Киселеву дорога теперь знакома.

С неохотой расстался брат с гармонью. А был этот парень Сашка Гурлов, единственный сын Юнарьки. Как сейчас помню, его красивое, строгое восково-белое лицо, улыбку его, короткую и холодную. Зубы скалит, а глаза остаются ледяными. Он сказал тогда Гошке:

- Ты и сам не знаешь, кого продал. Я в лады пальцем ткнуть не могу, а чую же вот: золотая это гармонь.

Хоть и жалко было Гошке гармони от такой похвалы, но набрался воли ждать новую, отец ее сразу же и заказал. Сашка уехал в Уяк к Ваньке Тилиле, известному гармонисту, плясуну, пьянице и вору. И как-то и забыли будто о Сашке Юнарьевском.

Прошла весна, кропотливое полоть на заимке, а тут и сенокос подвалил, и на нем-то и узнала деревня нового гармониста. Сашка пришел на нашу десятину с друзьями и в узле, в юбке, что ли, пестренькой, принес гармонь. Слух до нас доходил и раньше, что Сашкина учеба у Тилили прошла недаром, что вот, увидите, за пояс Сашка заткнет и Гошку вашего, и самого Тилилю, и будет он первейший гармонист на селе, каких оно и не видывало. В нашей семье такие разговоры считали сказками и что Гошку нашего переиграть никому не удастся.

Известно, что сенокос в старое время был праздником для молодых и для старых. Еду для этой поры припасали слаще, воздух тут был здоровее, и казалось, что сама нелегкая работа пропитывалась ароматами трав, пресными влажными запахами реки, какой-то праздничной торжественностью и неторопливостью. Семьи, с заимок, из своих изб приехав, как бы оказывались наголе и прятали свои стыдные стороны. Ругались вежливо, показывали себя, напрягаясь, с самой выгодной стороны, и женихов, и невест выставляли пооткрытее, не жалея ни сапог, ни рубашек.

А тут после знойного, урожайного на сено дня – на тебе: новый гармонист. «Посмотрим, приглядимся, оценим», – улыбались все и поглядывали на Сашку. Он же, неторопливый, развязал гармонь, собравшую сразу на себе горячие блики костра и ставшую новее и приманчивее, – и тотчас рявкнул.

И сразу приметилась особая манера игры Сашкиной – рявкать аккордами. До сих пор играли у нас переборами, одноголосо, и в этом содержалась главная лихость игры. Такую манеру брат мой Гошка усвоил хорошо, кое-что перенял от него и я и с высоты этих познаний мог судить о Сашкиной игре. И скажу: сразу мне его игра даже и не приглянулась. Была в игре в Сашкиной измена привычному. Как это сразу в пять голосов? Прибавь к этому два баса – вон ведь какой гром поднял сразу. Но девки-то, девки наши словно с ума посходили: запрыгали озорно – Сашкина игра подхватила их за самые главные близкие струны. Заохали, заобнимались они, сбегаясь в гуртки, становились в удалую «восьмерку». Что-то не ладилось, что-то в игре Сашкиной казалось им новым и необычным, но и трогающим глубь их сердец. Да и парни вдруг пуше забодрились, завывали груди под новыми сатиновыми разномастными рубашками, выставя напоказ то одну, то другую ногу в начищенных сапогах. Старики повылазили из балаганов, и малые детишки голоса подали, а ведь уснули было.

В чем секрет игры Сашкиной – так сперва и не узнали. Возьмите нашу самую бойкую плясовую – «подгорную». На сколько винтов, заливов, кружений, подманок и вихрей разных играл мой брат. Каждое кружение вот так на показ и выставлялось: это пятое, это шестое кружение. А тут слышишь – та же песня, завлека – «подгорная», но облачилась она с густоту звуков согласных, артельных, воедино слитых между собой. Чужалось, что с Сашкой на полянку эту сенокосную пришли сразу пять гармонистов, и так и хочется заглянуть, не за Сашкой ли они сидят? Какие-то уши и ахи разлетаются от гармонии и уносятся за парняцкий часток, в густоту кустов, на смоляную гладь реки. Гошку отец мой подтолкнул плечом.

– Экую ревучую, экую хоровитую гармонь мы продали с тобой. Не жалко?

– Гармонь хороша, но и руки ловкие, – с завистью ответил брат.

Тут Сашка выдохся, заохал:

– Ох, ох, Гошка! Бери-ка играй. Я руки все отмотал.

Я сразу и подумал: не сопоставить ли хочет он игру свою с игрой братовой? Не желая потерять свою славу, Гошка взялся за «иркутянку», с ходу в частоту звуков ворвался – не забыла гармонь Гошкин перебор, и полилась привычная, годами отстоявшаяся игра. Девки тут же выпорхнули в круг, завертели в любимой «восьмерке», игра им была как раз, и Гошка ловко ладил угадать их топ и разные развороты, все было точно, размеренно и аккуратно, только игра не рождала огня, не мучила отчаянностью душу. Двумя пальцами частил Гошка по ладам, а слышалось, будто сама гармонь жалобно-недовольна, будто просит гармониста: не выдавливай ты из меня тоску, хватай, черпай все, что есть во мне радостного и веселого.

После, когда отплясали на вечерке и Сашка, заключая шествие верхнедесятиных ребят, развернул на прощание гармонь и слитки согласных звуков разбросал в темень ночи, они там долго сгасали и остывали, призывные, любвеобильные. Гошка мой все стоял, все глядел в сторону остывающих звуков, качал головой, смущенный, обворованный, дивясь неслыханной в деревне Сашкиной игре.

Потом, слышим, женился Сашка на славной девчонке Надьке. Она была мила своей стеснительностью и скорым расцветом своим. Как-то вдруг оказалось, что в селе есть Надька. Жила-была девчонка неприметная и вдруг девкой стала, словно откуда-то неожиданно приехала. Поглядишь на Надьку и прежде всего заметишь веснушки. Но скоро о них и забудешь, и очарует тебя кроткая и нежная улыбка. Карие глаза под густыми бровями глядят на тебя так влюбленно, что подумаешь, не любит ли и в самом деле она тебя. Да нет, куда мне, подумаешь тут же, некрасивому, широкомордому, неказистому, соваться. Но и подумаешь опять: а если попробовать. Вот так, знаю, колебался не один парень при думе о Надьке, этой так неожиданно

раскрывшейся красоте. Но как скоро Надька стала девкой, так скоро стала и женой. Зачем, не помню я, с парнями зашел к Сашке-женатику. Надька замужем еще стала красивее. Подобралась телом, заострилась как-то, стала еще завлекательнее. Ах, если бы не эти чирки неуклюжие, не эта юбка грубо сшитая, чертокожая. Я мысленно наряжал Надьку в шелковое платье, в красные ботинки цыганские и отправлял по Главной улице городской. Но поворотом тонкой шеи, легким шагом, летучим движением она говорила, что все эти прически, украшения вовсе лишние и не нужные – не главное для нее.

Мы пришли в минуту, когда оба они были заняты гармонью. Надя на миг один, для нас вошедших, оторвалась от дела и мягко улыбнулась, потом опять обратилась к мужу:

– Ты не тот голос, Саня, даешь. Ты послушай, что тут надо. – И Надя запела тихим голосом:

А чья, чья это дорогая
стоит и плачет в стороне?

Сашка кивнул на жену и показал головой:

– Яйца курицу учат.

Сказал с какой-то гордостью, но Надя словно и не слышала, повторяя мелодию.

– Стоит и плачет, плачет, плачет. Слышишь?

Сашка нашел голос и проиграл с ним кусочек.

– Ну, видишь, как стало с ним хорошо! – обрадовалась Надька и как бы умыла нас своими черными ласковыми глазами.

– Зачем тебе, Сашка, Тилиля, если дома у тебя такая учительница? – посмеялись мы.

– Ему не Тилиля и не я нужны, – мечтательно сказала Надька. – Ему учиться надо. У него голова на игру хорошая. Ему в город надо подаваться. Там-то, поди, есть у кого подучиться.

– А вдруг он там музыкантшу найдет? – пошутили мы, но Надька только отмахнулась.

– Никуда он от меня не денется. Он в музыканты, я в артистки, – весело и увлеченно ответила она.

Я уж сказал, был Сашка у родителей один. Рос каким-то хилым, бледным. И после, когда Сашка подрос, недеревенская бледность не покидала его. Родители потакали ему во всем. Сказал Сашка – вот эту гармонь мне купите, и купили за двойную цену. Думали, поиграет, позабавляется, как дитя, и оставит ее, женившись. Получилось так, что сам отец его к нам пришел.

– Забирайте вы ее к чертям. Хоть за полцены. Он мне надоел с ней. Он на Надьку-то перестал смотреть, все пилит и пилит, коленцы разные выводит. А работы от его никакой. В поле не столкнешь, в лес сам езжу. Одна печаль с ей. Забирайте!

– Отберет, – сказал Гошка. – Ты его, дядя Юнарий, ничем не отвадишь от нее. Он как бы еще не уехал куда. Он собирается в город, а то в самую Москву. Я, говорит, сплю и вижу, как сижу на высокой сцене и меня слушают умные люди и дивутся, ахают.

– Знаю! – с горечью отмахнулся Юнарий. – Об этом же и мне тарахтит. Гыт, пусть Надька у вас поживет, а я постигать хочу. И что бы ей поплакать – «как я без тебя», а она за одно с ним: «Пусть едет, я хочу того, пусть ученым музыкантом станет».

Раз, и верно, ночным часом пришел к нам Сашка и упросил Гошку переправить его на ту сторону реки. А гармонь в полушалок завязана и на горбу бечевкой приторочена.

Этот раз ждали Сашку подольше, не как от Тилили, ждали полгода от октября до апреля. В весеннюю распутицу вернулся Сашка и, представьте, в новом фасонистом пиджаке, в тупоносых сапогах «джими», и галифины брюк так вот и попустились на голенища и издали поглядишь – Сашка как в юбке идет. Отец-то ждал его обтрепышем: «Ой, все спустит, все наряды свадебные пропадут», а, гляди, как повернулось все ладно.

На другой день мы, парни, собрались в Сашкиной избе, самой плохонькой в селе, сиротливо стоящей не в улицу, а на зады, посреди огорода.

– Правда, что апрель – никому не верь, – сказал Гошка-брат, оглядывая нарядного Сашку, – ты что, учился или как?

Сашка не вдруг ответил, а помяв в пальцах казбек-папиросу и угостив ею парней.

– Учился ли я? – начал он. – Да, однако, учился. Все-му! Ха! Ха! Ха! Ага. Всему маленько научился. И ладно, что эту науку враз оборвал. «Хватит!» – говорю. Тут, говорю, ваше училище не по мне. Враз вот так спохватился. «Гнедуху» в полушалок – и айда!

– Это, Саха, что за училище такое? – спросил я.

– А вот слушайте. Это, я сразу без трудов консерваторию нашел, а войти боюсь, боюсь, и только. Гляжу, из дверей дядька выходит, помятый такой и в душе чем-то недовольный. Я к нему и давай рассказывать, кто я такой. «А ну, сыграй что-нибудь». Я ему рывкнул плясовую. Он подумал, подумал угрюмо, схватил меня за рукав и в консерваторию ту и заволок, поставил перед седыми стариками и орет: «Вот, если мой природный талант не подходящ, так вот вам еще один. Из него, – говорит, – должен получиться великий музыкант». Ну, те седые-то седые, но и вежливые, и давай меня пытаться. Так сядь, так бери инструмент, так пальцы держи. Я говорю им весело: «Как умею, так и играть стану». И начал я им «подгорную» да «сербияночку» и все наши деревенские подряд и вывалил. Терпят, ухмыляются, машут потом, перестань, мол, а я все крою, выложу все, думаю, меня тут же запишут. «Ну, умеешь играть, – смеются, – а какие твои классы, школу-то какую прошел?» «Прошел три класса, – говорю, – а больше у нас и классов не было». «Мало, – говорят, – парень, маловато. Куда же мы тебя с таким образованием? Ты и в школу-то музыкальную не подойдешь по грамоте своей, хоть и мастеровитый, – говорят, – ты. Мастеровитый ты гармонист, но нам того мало». А разговор-то тот, думаете, где был? В самой Москве! Ха-ха-ха! – холодно и тоскливо захохотал Сашка.

– Ого-го! – выдохнули мы все враз.

– Ну во-от! Тут мой рекомендатель-то, баянистом он оказался, покормил меня с недельку, а потом и говорит: «Ты меня объел окончательно. Тебе, – говорит, – надо свой кусок зарабатывать. Я тебя научу, как это делать. Ты, – говорит, – заходи в ресторан и ногу свою эдак откидывай, ну, как на деревяшке. Крикни: «Послушайте калеку!» и рвани гармонь, и тебя заслушают, даже плясать под твою подгорную бросятся». И что вы думаете! Он сам мне дощечку к ноге привязал, чтоб не гнулась она. И я пошел. Ить это что, ребятушки! В кою пору десятка в кармане. И ишшо затащут за стол, пей, говорят, калека. Я ить пить было стал! Просят! Сажусь аккуратно, а потом опеть за гармонь. Ну, правда, подолгу не позволяют. Швейцар за рукав тащит – пошел-де, хватит. Я изучил их политику и стал обслуживать ресторанов десять. Так я вот план свой выполнял. Ха! Ха! Ха! Раз дядька один подманил меня ко столу, чашку чаю дал и спрашивает: «Ты откуда, парень?» – «Сибиряк», – говорю. «Валяй-ка обратно в Сибирь. Бросай ты эту хромоту и валяй. Ты, – говорит, – у себя в деревне будешь первый гармонист, а здесь и последний из тебя скоро выскочит». Да я и сам скоро сообразил: тут добра не жди. Вертеп какой-то. И про себя стал плохо думать: «Эко, с деревяшкой, эко, хромой». Тоска взяла и думает: эту же бы гармонь да в деревне развернуть – что бы было!

И Сашка потянулся к гармонии. Нам сразу стало понятно, что не зря он скитался так далеко. Наши пляски деревенские будто и забыл или нарочно хотел удивить нас ученостью. Сашка играл, а мы думали: «Пропал для нас гармонист». А Надька, то ли она, верно, понимала игру мужеву, то ли поддержать его хотела, вьется рядом, ахает и удивляется, подсказывая нам:

– Это вот «Брызги шампанского»... Это «Медленный вальс»...

И ладит танцевать со мной или братом, заламывая шею и обливая Сашку ласковым взглядом горячих глаз.

– Санечка! Мы правильно танцуем?

Сашка кивком коротким подтверждает и уходит с головой в музыку, мутными глазами оглядывает нас, страдание выражает на лице и шепчет вроде что-то, словно помешанный. Мы за этим выражением-то более всего следили: на муку ты, Сашка, свою оторвался от деревни. Играл бы этак простенько «тыры-пыры», а не пускал бы эти переливы, чужие и непонятные.

Чужие-то чужие, а как это легко прививалось в деревне. Иная девка идет и Санькины переливы под нос себе выпевает, другой мотивчик парень высвистывает. Не надо уж «подгорной» им, играй, Санька, плясовую с броским названием «С горы», играй «Цыганочку с переходом» или вальс «Молитва дьявола», и закружатся сбивчиво не по-здешнему, и как-то не идут чирки на ногах к тонким городским танцам.

Скоро Сашка опять исчез из села.

Пантелей Рассказ

Оттого, видно, что нас было много, росли мы безликими. Отец забывал порой, как нас звать, и называл мужиком или девкой. Мать путала имена и, не вспомнив нужного, кричала: «Эй ты, парнишечка!». Каждый старший из детей имел власть над младшими, поощряемую родителями. Посчитайте, сколько было властителей у меня, если я из девяти был восьмым ребенком. К тому же в голову отцу пало считать меня неродным по той причине, что из всех детей я один походил на мать.

– В тот год я и дома почти не бывал, – кивал отец на меня, – чую, не свиреповской породы он.

Слова отца на всю жизнь засеклись в моей памяти, и может, они сделали меня застенчивым, замкнутым. Обиды я переносил с недетским страданием и, чтобы избегать их, был послушным и исполнительным.

Я не успевал исполнять волю старших, и для своей власти над младшим братом у меня не хватало сил. То и дело слышалось в избе: «Санька, подай шило», «отыщи иголку», «сбегай за дровами», «вычисти хлев», «нащепай лучин», «смети с крыльца», «закрой окна». Я часто был предметом увеселительных сцен. Старший, женатый, брат Нефед подзывал меня к себе и, гипнотически впиваясь взглядом, кричал: «Беги, живо! Скажи, чтоб ждали!»

Я бежал из избы и посереде улицы останавливался, недоуменно разинув рот: «Куда, к кому тебя толкнули?» А в окошко глядели толстомордые Ванька, Манька, Митька и исступленно хохотали.

– Что разинул рот? Беги!

– Куда, братька? – спрашивал я рыдающим голосом.

– То-то «куда». С реки горсть воды принеси.

Тут я понимал, что это была сцена, что можно и расслабиться, улыбнуться или всхохотнуть даже.

– Уродина ты, Санька, – качала головой старшая сестра.

– Безумненький какой-то, – добавляла мать.

– Будешь безумненький, как копыто поцелуешь, – хохотал брат.

Уродиной меня звали еще и потому, что верхняя губа моя была рассечена и заросла бледным рубцом. Когда я был поменьше, за своим крестным, старшим братом Нефедом, бегал, как собачонка. Однажды посадил он меня на Серка, старого мерина. Час я на нем просидел, хвастаясь перед всеми братьями. После другой брат, глумясь и предрекая – «что будет», послал меня к жеребенку: «Садись, Санька, на него». Жеребенок брыкнул и поддал мне так, что я на сажень отлетел и растянулся на плахах. Помню, отец, братья и сестры весело глядели на меня, привезенного из больницы, и родитель сказал:

– Гляди ты, чертеныш, выжил.

Брат же Нефед махнул рукой:

– Простофиля же ты, Санька. Не жить рожден, а шишки на себя собирать. Стишок-то про тебя есть: «Видно, по миру хочешь скитаться». Пантелей ты, вот кто.

С тех пор и прозвали меня Пантелеем, тем самым, который промотал хомуты, промотал лошадь. Хором пела родня эту песню, крестообразно дирижируя перед самым моим носом. Я чувствовал, как те кресты угольной чернотой ложатся на мое сердце. Неужели я, Пантелей, – пропащий человек, непутевый мальчишка?

О школе в семье всегда говорили устрашающе.

– Погоди! Семен Семенович из тебя сделает лепешку.

– Там тебе покажут, как ходить по одной половичке, а на другую не ступать.

– Ох, Санька, Санька, ох, уродец, ты мой, – вздыхала мать. – Ну, вот скажут тебе в школе «лезь в колодец» – и полезешь? Дома свои похочут и забудут. Там никто не пожалеет, будут тебя тыркать, будут совать тебя, покорненького, куда не надо.

А мне скорее хотелось в школу. Я думал: «Вот увидите, какой я Пантелей! Я буду учиться лучше братьев. Вот увидите!»

Никто в школу меня не собирал. Раз утром наелся печеной картошки и исчез из дому. Меня хватились, чтобы толкнуть навоз убирать в хлеву, и не нашли. Вернулся я с тетрадкой и карандашом и долго искал место, куда бы спрятать драгоценный подарок учителя.

– Глядите-ка, он в школе был! – удивился брат.

– Неужто началось? – огорчилась мать. – Еще огороды не убраны.

– С ума сходит учитель наш, – сказал отец. – Показывай, что написал.

– Потом покажет, – сказал брат, – сыпь в хлев да как следует вычисти.

Я выгребал навоз и прислушивался к улице, с нами учитель обещался сходить в лес. Я услышал веселый щебет первоклашек, бросил лопату и выскочил за ворота, а вдогонку кричали:

– Куда ты! Вернись! А навоз? А дрова? А огород?

Я еще не нагляделся на учителя в классе. В лесу я забегал вперед и глядел в глаза ему, осматривал его опрятный костюм. Мне казалось чудом, что седой и старый человек снизошел до нас, ребятишек, и разговаривает с нами запросто. Его можно спросить, и он ответит ласково и тихо, и так тепло ляжет его рука на твое плечо. В те дни казалось, что засветилось для меня два солнца, одно на небе, другое рядом – и какое из них светлее? И потом, когда спать лег, не виделись мне в глазах ни лес, ни мальчишки. Чужалось какое-то радостное парение, виделась седая голова и голубые ласковые глаза учителя.

Но и эту зиму я больше работал, чем учился. Я уже знал свою работу и делал ее исправно. Кроме своей работы было много такой, которая поручалась в наказание. Особенно часто наказывал меня старший брат Нефед, словно был ко мне приставлен для этого. С каким-то злорадством он заставлял меня щепать лучины, растянувшись на скамье и следя за мной.

– А ну! Что перестал? – кричал он, если я ковырялся в ладошке.

– Занозил, – показывал я руку.

– Эки нежности! Что из тебя получится, Пантелей, не знаю.

Я ненавидел его, но щепал и щепал лучины до потемок, все ждал, вот уйдет он куда-нибудь; знал, что и уйдет, легче не будет, на его место ляжет другой брат и повторит волю старшего.

– Ладно, кончай, Пантелеюшко, – скажет брат, и ты сунешь под печку вязанку лучин, клубком свернешься на горячей печке и уснешь. Работа делилась на легкую, домашнюю, и тяжелую, заимошную.

Меня барином прозвали в семье, когда на целое лето запрягли нянчиться с племянником.

Как только поднималось солнце, во двор выбегала невестка, удилищем шуровала по сеновалу или, не добудившись таким способом, залезала и срывала с меня шубенку.

– Семья пашет, а оп спит. Притаился небось. Марш к зыбке!

Не умывшись, я хватался за зыбку и, если укачать племянника не удавалось, кормил тюрей, сажал на горшок, угнездывал его в тележке и возил по селу в обществе таких же нянек. Глядишь, ребенок голову свесил, и ты уснешь сразу же, коснувшись теплого бревна. Вокруг гвалт, а ты спишь, и разбудит тебя крепкий шлепок невестки.

– Окаянный! Вот ирод навязался. С таким пустяшным делом не сладит! Вези его! Катай его!

Опять заскрипит тележка, и опять, наклонясь к ней, катаю я племянника до вечера. Соседи смеялись:

– Кончай работу. Вот и Санька откучерил на своем драндулете.

Я всегда хотел спать. Я мог спать, сидя на земле, на бревне, навалившись на тележку, даже стоя вдруг чувствовал, что засыпаю. Девчонки замечали мое состояние и кричали:

– Пантелей-то умирает! Ложись уж, чучело, а мы посмотрим.

Спать было нельзя. Из ворот подглядывала невестка.

Я видел, что няньки запасались бутылочками с зеленоватым настоем. Разбухшие головки мака плавали в нем. Горластому ребенку они совали соску в рот и давали глотнуть раз-другой. Повяньгав немного, ребенок засыпал, не чуя на лице черных скопищ мух. Брат где-то прослышал, что мак – отравка, и запретил пользоваться им. Я завидовал нянькам. Раз выпросил у них бутылочку и вдоволь напоил племянника. Отвез его на край села в пышные заросли крапивы и, увидев, что он спит, сам лег подле тележки. Видать, спали мы долго, потому что успела схлынуть жара, и в полусне я чуял идущую прохладу от земли. Крепкие руки схватили меня и подняли на ноги. Я шмыгнул в крапиву, как в кипятки. Плакать я не смел, лишь плясал на одном месте и издавал звук «фу-фу-фу», словно хотел сдуть огонь ожогов. Невестка схватила ребенка, брат тележку и убежали, а я упал на землю и терся об нее. У меня еще горели уши, когда я вернулся домой. Ребенок не просыпался. Брат встретил меня со знакомой бутылочкой.

– Пей.

Я отворачивался, как отворачивается лошадь, когда ей суют несъедобную траву.

Потом я все же взял из рук брата посудину и сквозь коровий кисло пахнувший сосок вытянул маковую запарку. Все уставились на меня кто со злорадством, кто со страхом. Но оттого ли, что успел выспаться, от крапивных ли ожогов или оттого, что был очень напуган, я долго не засыпал... Я знал, чего ждали домашние, и бодро похаживал по двору, швырял камни в воробьев, посвистывал и подмаргивал.

По телу разлилась истома, меня как бы влекло, воздымало вверх. Стало легко, беспечно, явились дерзость и любопытство: что будет дальше со мной? Я много раз слышал про лунатиков. «Дай, стану лунатиком», – отчаянно подумалось мне. Сперва я забрался на заплот и попробовал постоять на нем – получилось. Затем поднялся на козырек калитки, кося глаз на окна дома, перебрался на ворота и, заложив руки за спину, прошелся по ним. Я слышал, как хлопнула сенная дверь и выскочила на улицу мать. Она махала руками, кляла меня и требовала сойти, звала на помощь братьев моих, но они в пустом любопытстве тарасили глаза. «Что скажете дальше?» – подумал я и ступил на сарай. Подошвы ног плотно прилегли к теплему дранью. Я добрался до крыши дома, а там и до князька. Выше ничего уже не было. Я стал у края, на самый конек, трухлявый и потрескавшийся. Мне кричали снизу, грозили кулаками – я ликовал: хоть на минуту я стал сильнее, смелее и выше всех домашних. Я даже постоял на одной ноге, а другой как бы пробовал шагнуть в пустоту. Отец сперва тоже что-то кричал, потом махнул рукой, толкнул в сени мать и ушел сам, сказав:

– Его там, видно, сам черт держит.

Скоро плюнули на меня и ушли, не дождавшись, как я слезу с крыши или, сморенный маком, упаду на навозную кучу. Я же слез незамеченный, под сараем забрался в лошажью колодку и, угнездившись в сенной трухе, уснул. Этот раз я спал всю ночь, спал до полдня и проснулся по собственному желанию, не найденный. Я радовался тому, что как нянька потерял доверие, хотя нянчился до самой осени. Усерднее стала подглядывать за моим нянчаньем соседская девчонка. Племянник подрос, стал на ноги, и я радовался, что избавлен от непосильной ноши. В одно утро невестка полезла на сеновал и меня не обнаружила. Она искала меня по стайкам, по всем углам двора, чердак обшарила, но я, как и в тот год, вернулся из школы с карандашом и тетрадкой.

– Учиться, шельма, ходил! – подошла ко мне невестка. – Без спросу, без разрешения.

Но отец покосился на нее, сел на табурет и долго глядел на меня загадочно.

– Пошто не сказался, что в школу ушел?

– На што? – спросил я и взглянул в глаза отцу: они соглашались со мной.

– Шабаш! – сказал отец домашним. – Учиться пошел. Не трожьте. Сами понянчитесь.

Невестка пожала плечами, брат заворчал:

– Ладно, Санька. Купим мы тебе катанки. Жди!

Катанки мне все-таки купили. Это были первые новые за мою короткую жизнь катанки. До того я довольствовался обносками. Я словно обезумел, надев обновку. Катанки, как игрушки, красовались на ногах. Я дико тарашил глаза, хотелось прыгать, хотелось как-то выразить радость, но я страшно боялся; радость моя вызвала бы раздражение старших, слова мои насмешливо повторялись бы на разные тона. Я клял бы себя за то, что так глупо выпалил их. Словом, я не выразил радости перед домашними. Зато, как вырвался из дому, дал волю своим чувствам: я ставил ногу и боком, и прямо и на пятки заглядывал, и всяко было красиво. Я думал, мне позавидует вся школа, и пришел на час раньше, я носился по школьной ограде, кувыркался в сугробах, а в классе прыгал по партам и такой громоток устроил, что из своей комнаты вышел Семен Семенович и остановил меня:

– Свирепов! Что с тобой?

Я глядел учителю в глаза и тоже удивлялся, ужели он не видит, ужели так и не скажет ничего?

– Да у тебя катанки новые! – поднял брови учитель.

– Ну! – подался я весь к нему, оглядел себя и не видел ни штанов с заплатками, ни рубахи, продранной в локтях, все заслонили мне катанки и великий праздник на душе. Вот и Семен Семенович порадовался. Видать, особенные они у меня.

Скоро класс наполнился ребятишками. Я разувался и совал им катанки померить.

– Братька мне купил! – кричал я звонко.

На уроке я заглядывал под парту, учителю отвечал рассеянно, а как тот попросил сочинить задачу, я и задачу сочинил про катанки. «Было у мужика пятьдесят рублей. Половину он отдал за шубу, пять рублей за гвозди, остальные потратил сынишке на катанки». Я понял, что не рассчитал, когда поднялся гомон в классе.

– Твои катанки и пяти рублей не стоят!

– Стоят! – оспаривал я. – И дороже стоят. Попробуй такие найди!

Скоро и дома узнали о цене моих катанок. Старший брат Нефед зубоскалил:

– Двадцатки ты сам не стоишь!

О своей цене я никогда не думал. Но цену мне, как и цену одноклассников, хорошо знал Семен Семенович.

– За что же тебе, Саня, валенки купили? – спрашивал он после уроков.

– Я нянчился, – отвечал я.

– За дело, стало быть. Велика радость – за работу награду получить.

– А меня дома Пантелеем зовут, – жаловался я учителю.

– Слышал. А ты вот что помни: Пантелей – это хорошо. Ты стихов Никитина не знаешь, а Пантелей труженик был, жил славно, да беда за бедой в окошко к мужику стучалась, вот и запил. Но Пантелей – умный мужик, все перенес, он и где-то теперь живет в славе и достатке. Пора такая, власть такая пришла, чтобы Пантелею нашему легче стало. Кличут тебя домашние так по глупости и незнанию! Ты гордись этим именем. Стихи эти я тебе сейчас расскажу. Слушай-ка.

Я запомнил и стихи и слова учителя. Я полюбил Пантелея, и когда меня называли этим именем, я не обижался, чем вызывал у домашних недоумение.

На другое лето я вроде бы опять нянькой стал. Только водился теперь с утятами, маленькими желтенькими комочками. Домашние рассудили так: в поле есть бороняги и пахари. Куда с пользой пристроить этого? Раз июньским утром выпустили из лукошек утят. Они пухлыми шариками скатились к воде.

– Паси, – наказывала мать. – Да не будь зевакой – Пантелеем. На небо поглядывай чаще. Пуще всего берегись вороны и коршуна.

Я остался один и затосковал было, но к речке пришла соседская девчонка. В няньках мы были с ней тем летом. Ольга была усердной пастушкой: подол весь вымочила, рыскает по болоту, коров и свиней отгоняет, а за небо в ответе я. Незаметно Ольга работу в игру обратила: в корзинке ее – пеленочки, одеяльца для утят. Больного утенка она в тряпочку завернет и к доктору принесет. Доктор – я, бестолковый доктор, больше по Ольгиным указкам действую. Лекарства в рот толкаю, уколы делаю. Ольга утенка в зыбке качает, у того рот открыт и голова запрокидывается. Ольга бранит доктора и трогательно причитает. Мы в могилку кладем утенка, в холмик крест из щепочек втыкаем. Так увлеклись похоронами, что не заметили, как прилетел коршун. Камнем упал он в утячий табунок, вот уже и поднимается тяжело. Я хватаю горсть галек и швыряю в хищника. Напугал-таки воровитую птицу. Упал утенок в лужу, побарахтался и затих. Опять похороны. К вечеру на нашем птичьем кладбище пять крестов.

– Если так и дальше пасти станешь, скоро утят не будет. Что делать с Пантелеем? – спрашивает Нефед.

– Хилые они, – оправдывался я.

– Сам ты хилый! Куда ни поставишь, все клин да колода.

Утро убеждает; что вина не во мне. В пригоне три утенка лежат кверху лапками. Пока утята оперились, табунок уменьшился наполовину.

– Кому доверили утят, – ворчал Нефед. – Увидите, к Ильину дню по всем панихиду служить будем.

– Кого же поставишь к ним? Васька мал, Митька боронит, – говорит мать.

– Давно не учен Пантелей.

Я был безразличен к прозвищу, но в этот раз что-то поднялось во мне. Я закинул руки за спину и гордо заявил:

– А Пантелей вовсе не ругательно. Пантелей – это хорошо. Он добрый и умный человек.

Я говорил и захлебывался от волнения. Тотчас домашние окружили меня, потому что такого от меня не слыхивали. В голове у меня помутилось. Мне казалось, что в доме все взвихрилось и поднялось против меня. Петух за окном испуганно воскликнул: «Как это так?!», собачонка проворчала: «Не еррепешься!».

– Ты откуда это взял, что Пантелей – хорошо? – спросил Нефед.

– Так Семен Семенович говорит, – выпалил я в отчаянности.

– Семен Семенович нашему дому не указ, – сказал брат. – Повторяй за мной: «Я Пантелей, гадкий человечешко».

Я посопел, потоптался на месте и запел:

– Я, Пантелей...

– Какой Пантелей? – допытывался брат.

– Гадкий! – со стоном вырвалось из меня слово. Трудно было понять: это слово обидное я выдал о себе или брата обозвал им.

– То-то, гадкий, – утешился брат. – Марш пасти утят!

На крыльце мстительное чувство меня охватило снова. Я заплясал и дико закричал:

– Гадкий! Гадкий! Гадкий!

И к речке бежал, припрыгивал, все кричал:

– Гадкий! Гадкий!

Я пас утят, бродя по лужам, и видел, как ребяташки толпами шли к реке. До меня доносился глухой всплеск воды, визг ребятни, зычный хохот парней. Я был один, так как и Ольга праздновала, и утята ее сидели под амбаром. Когда Родька и Вадька, соседские приятели, помыслили купаться, я пошел не оглядываясь, оставив ненавистных утят. Словно кто снял с души все обиды и печали, я беспечно бултыхался в воде, уходил столбом вглубь, бегал, взвизгивая,

по лугу. Едва согревшись на солнце, мы потянулись к лесу, одолевая крутую гору. До самого вечера не приходили в голову утят. Шаля, гоняясь друг за другом, мы уходили все дальше в лес. Мы залезали на деревья и зорили вороньи гнезда, гонялись за бурундуком, лакомились редкими ягодами земляники. Когда прошли весь лес и увидели пыльную дорогу, мы вдруг вспомнили про домашнее.

– Что я наделал! Утят, поди, коршун перетаскал, – спохватился я.

– А я с сушила убежал! – ахнул Родька.

– Я Нюрку оставил в зыбке, – запечалился Вадька. Огородами я пробрался к речке, обшарил всю траву и утят не нашел. Я колебался, идти ли домой, хотя не было случая, чтобы я ночевал где-то. Я открыл ворота и тотчас встретился с Нефедом.

– Я покажу, как делать назло, – подскочил он ко мне. Вывалились на крыльцо домашние. Мать сунулась вперед, чтоб защитить меня.

Нефед ухватился за тонкое запястье мое и поволок к предамбарью. Я укусил ему руку, вырвался и запрыгнул на забор. Домашние думали, что я повторю прежнее: залезу на крышу, откуда меня не взять. Я же спрыгнул на табачную грядку и понесся по огородам к кладбищу и там притаился за пряслом. Кто-то вдруг облизал мне лицо. Я вскочил, чтобы бежать, и рядом увидел собачонку Мушку. Я дался ей обласкать себя, огляделся и пошагал в вечерний темнеющий лес.

Я шел по темному лесу, натыкаясь на деревья, и не от страха – от обиды все во мне зацепенело. Меня царапали сухие ветки, резал ноги папоротник, я шел, как заведенный, не зная, куда иду. Ворона шархнула над головой, захлестала крыльями по веткам, каркнула одиножды и приткнулась к вершине. Раздался пронзительный лай – это догоняла Мушка. Я присел под кустом и обнял собаку, она свернулась калачиком подле меня, словно сказала: «Ложись-ка и ты. Вовсе не к чему дальше идти». Я знал, что где-то впереди есть лес, большой, глухой и недоступный. Там я укроюсь от домашних, но все это будет завтра. Я устроился поудобней на сухих иглах под сосной и заснул. Когда проснулся, было уже светло, Мушка сидела, передо мной и нетерпеливо повизгивала. Я вспомнил вчерашнее и, словно кто схватил за горло, не мог вытолкнуть воздух. Потом навалилась на меня икота, и мне подумалось, что так я плачу. Я испугался странного плача и заревел по-настоящему.

Вспомнилось обычное утро дома. В такой час отец мажет телегу, а Нефед бежит в луга за лошадьми. Дружно поднимаются остальные, и скоро застолица посапывает, побрякивает ложками.

Я не ел со вчерашнего утра и почувствовал, что голоден ужасно. Я стал обдумывать, как достать еду, не побывав дома. Разве забраться в крайнюю от леса избу Егора Гузова? Я полз по глубокой борозде, между жердями пролез в ограду. В чулане, к великой радости, стояла коврига хлеба. Я схватил ее и выскочил в переулок. Тут и увидела меня мать.

– Санька! Санька! – закричала она.

Обхватив ковригу обеими руками, неся к лесу. Вот уж скотское кладбище, вот и канава: перемахну ее – и опять в лесу. Из-за сосенки мне напересек вышел Семен Семенович. Ничего не стоило проскочить мимо хромого учителя, но ноги мои подкосились, коврига выскользнула из рук и покатила в овражек.

– Вот и встретились, вот и хорошо, – сказал учитель и потряс меня за плечи. – Сходи-ка, герой, подними хлеб.

На разговор и мать прибежала.

– Нашлась потеря, принимайте, – весело сказал учитель, когда мы вернулись домой. – Умыться бы ему надо.

– Баню ему надо хорошую, – сказал отец.

– И пусть выпится, – добавил учитель.

Спать на сеновал меня не отпустили: боялись, убегу. Я залез на холодную летнюю печку и угнездили на пыльной копне рухляди. Сочтя, что я уснул, отец насмешливо спросил:

- Вот так и живем, Семен Семенович. Поучи нас, дураков, уму-разуму.
- Поучу, на то мы учителя, – ответил Семен Семенович. – Ты в партизанах был?
- Ну! А что?
- За свободу воевал?
- Вроде бы.

– Дак какого ты дьявола режим-то старый в семье устраиваешь? Ты не свободных людей, рабов у себя растишь. Грубиянов и оскорбителей воспитываешь. Зло, а не добро в души их вселяешь.

– Ты нашу жизнь не трожь, учитель, – с угрозой сказал отец. – Она не касается ни для кого. Как можем, так и живем. В том есть наша извечная внутренняя воля.

- Руки бы меньше прикладывали к детишкам, не то в сельсовет приглашу.
- Рушить наши порядки будешь?

– Нет, вмешиваться стану, вот же ведь сижу у тебя и совещу. Так и всегда, где касается детей, не умолчу. На дороге, в нардоме, в избе вашей – везде говорить стану. И не отсмеивайся. Карп Иванович, не вороти взгляда на сторону.

- Да что ты, власть, что ли, мне какая?
- Власть, Карп Иванович. По детям я тут власть самая главная.
- Хватит нам с тобой толковать, – огрызнулся отец. – Детишки в школе – делай с ними что хочешь. Детишки дома – власть твоя кончается. На том мы и порешим.
- Разговоры наши только начались, Карп Иванович.

Пока спорили, кто-то из наших спустил с векши собаку. Серый волкодав носился по двору и, как вышел учитель на крыльцо, бросился к нему, зарывав. Отец отпихнул его ногой, спротив учителя:

- Страшновато?
- Да как сказать, – ответил Семен Семенович. – Кусан ведь я, братец, кусан. Хром-то отчего?
- Хо! Хо! Хо! – глупо захохотал отец и повел собаку к конуре.

Я опять было сунулся на печь, отец за ошкур меня задержал и, к дверям подведя, вожжи снял.

- Снимай штаны! Живо!

Я сжался, готовый ко всему, но и заметил, что без злобы, покойно отец держал вожжи в руке, какая-то досада морщила его лоб. Он оттолкнул меня, вожжи бросил на лавку и, ругаясь, вышел из избы.

Я ходил мимо школы и видел учителя в огороде, во дворе школы, на горке, мне хотелось подойти к нему и сказать: «Здравствуй, Семен Семенович!» Я окончил школу год назад и был в том возрасте, когда дома еще не полный работник и уже не ученик. Меня мучили скрытность и молчаливость – свойства, которые долго подкрадывались ко мне и наконец овладели. Когда я видел школу и учителя, что-то чистое, недомашнее заглядывало в меня, хотелось радость выразить шумно, и знал, что сделать это не смогу. Я шел в потребиловку за керосином или спичками и заходил, как случалось часто, с огородной стороны к школе. Я припаивался лицом к стеклу и видел в классе счеты, карты, плакаты, встречался взглядом с учителем и убегал. Но раз крикнул:

- Здравствуй.

Я даже не назвал имени учителя. Глаза Семена Семеновича вспыхнули, он сунулся к окну, и я сколько хватило прыти понесся к речке. На мостике оглянулся и увидел учителя, он махал рукой, подзывая:

- Свирепов! Эй, Свирепов!

Наш брат, не ученик, то и дело заглядывал в окна школы, показывая язык и гримасничая. Я побаивался, что мне сейчас попадет. Как-то переламяваясь, вихляясь извинительно, я перешел мостик и уходил, оглядываясь на учителя. Семен Семенович нетерпеливо сорвался с места и пошагал ко мне, жестом прося, чтобы я подождал. Я остановился.

– Ладно, – махнул он в сторону школы. – Подождут, задачку решают. А как ты поживаешь? Что делал летом?

Я рыбачил с отцом, пас скот, косил, пахал – но ответил только подергиванием плеч.

– А как дома? Все в порядке?

Вместо ответа я стукнул кулаком по жерди прясла. Бойким взглядом он поймал кулак мой и улыбнулся той долгой улыбкой, какая всегда предшествовала его слову.

– Вижу, все страшное позади. Учиться не думаешь? Ну?

Нетерпеливое слово «ну» напомнило урок.

– Дак классов-то больше нет, – сказал я.

– Дальше! В городе!

– Много нас, – махнул я рукой.

– Многовато, – зачесал затылок учитель. – А в сторожа ко мне пойдешь?

Предложение меня рассмешило. В сторожах, пока я учился, была старушка Паша, глухая, суетливая. Она уехала к сыну в город.

– Чего тут смешного? Работать будешь, зарплату получать. Как в окошке увидел, так сразу подумал: тебя возьму.

– Отец не отпустит, – уклонялся я.

– С отцом я поговорю.

Мне было приятно, что учитель говорит со мной, как с равным, руку на плечо положил и к пряслу, как и я, привалился, нос к носу придвинулся ко мне и шепнул:

– Зачем к окошкам-то липнешь?

– Интересно.

– Что ты интересного увидел?

– Учите.

– Заходи прямо в класс и слушай.

– Интересно как-то, – твердил я свое. – Учился, ничего завидного не было, а тут гляну – учите. И парты, и доска. Вроде бы родное что там осталось.

Учитель хлопнул по полам пиджака и кивнул в сторону школы.

– Не усидели! Вывалили всем классом! Ладно, побежал, а ты подумай. Черт ее знает, может, это станет началом судьбы твоей.

– В сторожа-то?

– Вот затвердил. Приходи! – крикнул уходя.

Каждому встречному хотелось передать новость. Четверть с керосином поставил в сенях под лестницу, спички сунул в печурку и тотчас заявил домашним:

– Хватит дармоедом звать. Пойду в школьные сторожа.

– В сторожа! – удивился Нефед и уставился на меня, как на полоумного. – Тебе одна дорога – в сторожа. Леня на пашне работать.

С невесткой они давай хохотать надо мной, совлекли на смех всю орду семейную. Такой гогот устроили, таких предреканий наговорили.

– Отвалит тебе учитель зарплатищу, – смеялась мать. – Куды деньги девать.

– Сынок на заработки идет. Нам, старуха, облегченье.

– И пойду, – настаивал я.

– А ну, замолчать! – цыкнул Нефед и обратился к жене: – Сходи-ка к учителю. Узнай, что там. Может, и верно сторож нужен. Тебя устроим. Беги.

Невестка собралась живо. Полушалок на голову – и того достаточно, чтобы до школы добежать. Вернулась покрасневшая, брезгливо уколола меня взглядом, а для всех хлопнула руками и раскудаhtалась.

– Эко отлет, Пантелей-то наш. Он уж был там и договорился. Хромой-то черт говорит: «Мне его надо!» Смотри, Нефед, братец-то дороже меня оценен.

– Никуда не пойдет, – решительно сказал отец, будто меня тут и не было. – Пусть ноги поломают за плугом. Пусть дома сполна сладкого отведаёт.

– Отведал уже, – насмелился я возразить.

Я сел к окну и давай постегонку сучить. Стащил с себя чирок и заплату пристегал. Старшие перестали нудить, занялись делами. Я чинил обутки, выжидая случая, когда меня забудут окончательно, и не дождался. Нефед дернул за рукав и повелел собираться на гумно!

– Да не замерзнешь, – сказал он, когда я взялся за пиджак.

Уверенный, что я догоню, брат споро зашагал вдоль улицы. Я повернул в другую сторону и, сколь мочи было, побежал к школе. Заскочил в калитку, в темном коридоре нащупал ручку и крикнул, открывая дверь:

– Семен Семенович! За мной братка бежит!

Учитель вышел в коридор и спокойно шепнул мне:

– Заходи в мою комнату.

Я прислушивался, как учитель толковал с братом.

– Нефед Карпыч! Заходи, заходи. Я скоро урок кончу.

– Тут где-то Пантелей наш прячется, – низким голосом спрашивал брат.

– Пантелей? Какой Пантелей?

– Санька наш. В сторожа к вам метит.

– Звал, звал в сторожа. Где же он, поджидаю.

– Не отдадим мы его. Бабу мою Дашку берите. Дашка аккуратная. Зачем парнишку от хозяйства отрывать?

– Хорошо. А как у вас с поросятами? – спросил неожиданно учитель.

– На зиму опоросилась. Двенадцать привалила, а куда теперь с ими?

– Покормите – и на базар. Битыми ососочками и продадите.

– Значит, не был?

– Саня? Обещался.

– И примете?

– Что делать? Принять надо.

– Так, – протянул брат и хлопнул дверью.

Скоро все село узнало:

– Санька в сторожа подался. Позор Карпу!

Сам я переживал дни необычайного обновления, словно с меня сползла старая кожа. Я носил дрова, бегал за водой, подметал коридор, крыльцо, двор. Вечером, как только уходили ребятишки, я затапливал печи. Блики огня падали на плакаты, карты, таблицы. В классе было торжественно и тихо, и казалось, что я приобщен к чему-то таинственно-прекрасному. Я вроде повзрослел сразу, походка стала прямее и увереннее, взгляд смелее, в голосе крепость появилась. Но самую большую радость дарили вечерние беседы с учителем. Когда я слышал, как Семен Семенович покашливает, значит, оторвался от стола, значит, «свалил дневные тяготы», как он говорил, Сейчас он выйдет в коридор и потянется, по-стариковски медленно присядет раз-другой, разминаясь, и распахнет дверь класса. Пройдет по мерцающим пустым рядам парт, мурлыча под нос «Сердце красавицы склонно к измене». Я сперва думал, что ему скучно со мной. Жена ого, Дарья Григорьевна, учительствует в соседней деревне Заимках, потому что тут нет свободных классов. И хоть деревни рядом, видятся они редко. Я раз насмелился спро-

силь, не скучает ли он. Учитель подсел к открытой печке, и я заметил, как тепло заулыбались голубые, с маленькими, четко обозначенными зрачками глаза.

– Скучать-то некогда, Саня.

Имя мое, как мне казалось, произносил он ласково. Впрочем, кроме учителя, никто меня Саней не называл, а Санька в доме нашем звучало обидной кличкой, как слово Пантелей.

– Ты видишь, Саня, как скучаю я. С утра до вечера такое веселье.

– А вечером молчите, будто и нет вас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.